

ЛАБОРАТОРИЯ

Маленькая повесть

Давно это было, совсем давно, сорок лет назад и даже еще дальше. В даль несусветную уже ушло это время, как война Отечественная, как жизнь родителей и многое другое. Тогда работу в Голодной степи, тягостную по многим обстоятельствам, я с великой радостью поменял на другую, - в гидравлической лаборатории. Она принадлежала Среднеазиатскому отделению Всесоюзного проектно-изыскательского и научно-исследовательского института «Гидропроект» имени Жука, организации большой и авторитетной. Это отделение (филиал от московского «Гидропроекта») проектировало крупные водохранилища и гидравлические станции на реках Средней Азии, энергетический потенциал которых на горных участках был очень высок. Так, потенциал реки Нарын приравнялся к Волжскому, а потенциал реки Вахш был еще выше.

Мать моя в те годы еще была цветущей женщиной, правда, не молодой, а отец был цветущим мужчиной; в ирригационном институте, где он преподавал и заведовал кафедрой проектирования сельских населенных мест, его любили и жаловали. Но одну потерю семья уже понесла, умерла тетя Саша, сестра моей матери, вторая по старшинству за тетей Юлей. После войны она с супругом Василием Васильевичем перебралась в наши края, похоронила мужа-сердечника, весьма пристрастного к горячительным напиткам, и тихо прилепилась к нашей семье, с согласия матери и отца прилепилась, которые, как могли, старались сгладить ее одиночество. И вот год назад у нее остановилось сердце. На похороны я опоздал, но слезу пролил; добрая это была женщина, и очень несчастная. Невосполнимость утраты подтвердилась следующими годами. И даже когда на эту утрату наслоились другие, она не стала меньше, не зарубцевалась, но обособилась, а я осознал: дорогие люди остаются дорогими и после своего ухода. Свет негасимый исходит от них, и память не желает расставаться с ними. Память старается поставить для каждого из этих людей свой, отдельный пьедестал.

Пройдет, нет, промелькнет время, как взмах руки, и я очень высоко оценю работу в гидравлической лаборатории и людей, с которыми в ней сведет меня жизнь. Я люблю лабораторию. Я расту в нее всем своим существом. Но как только пробьет мой час, уйду из нее без минуты сожаления. Уйду в газету, в человеческую толчею, свойственную полному вокзалу, в каждодневное самоутверждение. Начнется совсем другая жизнь, предельно насыщенная кручением-верчением. Газета потом уйдет, а эта крутая тропа и эта ноша будут держать меня в хорошем тоне и напряжении до конца дней моих.

Голодная степь была совсем не для меня. Я строил там домики в совхозных поселках – и не прикипал к людям, которые работали под моим началом. Я ставил там лотки – и не прикипал к людям, которые делали это под моим началом. Ибо у этих людей были острые локти и луженые глотки, свой интерес они ставили очень высоко, на своем интересе все у них и обрывалось, и сближения с ними у меня не получалось. Разница между нами обозначалась сразу, и весьма контрастная. Я разбивал в новых целинных совхозах трассы лотковых оросителей. Это уже было по мне, две мои реченицы, одна в возрасте, вторая молодая, мне никогда не перечили, а я не перегружал их, сам таскал теодолит, треногу и связку колышков.

Но этой простой, размеренной работы меня лишил очередной начальник нашего строительного управления, самонадеянный и духовитый – Виктор Абрамович Духовный. Он потом пошел высоко в гору, он был на это нацелен изначально, и я, соприкасаясь с ним по новым своим делам, не попрекал его тем далеким решением: упаси Боже! Не попрекал, но и не простил, вот ведь как. Жизнь в Голодной степи подарила мне жену Дину Сергеевну Романову и дочь Ирочку. С Диной я прожил почти семь лет, а потом ее место заняла другая женщина, совсем на нее не похожая и ничем ее не повторяющая. Блеск, какой обаятельной была эта женщина, и какой желанной, но это уже совсем другая статья. Дине Голодная степь не нравилась еще больше, чем мне, и она подбивала меня уволиться и уехать. В конце 1961 года нам удалось это свое намерение осуществить.

Возвращение в отчий дом не было победой, но уезжал я один, а вернулся с женой и дочерью – пятимесячным ребенком, глазастым и чистым; это было единственное бесценное приобретение, сделанное в Голодной степи. Итак, Дине на ташкентской уже земле предстояло ухаживать за ребенком (и за моей бабушкой Марией Мартыновной, которая на девяносто первом году жизни упала, зацепившись за щербатинку в полу, и сломала шейку бедра; кость не срасталась, бабушка лежала, прикованная к постели, беспомощная, очень удрученная новым своим состоянием – ведь прежде она, мать девятерых детей, работала, не покладая рук). За ребенком Дина ухаживала, как и положено матери, а от бабушки воротила нос, ведь это была не ее бабушка. Мне же предстояло найти работу. И я нашел ее на удивление быстро, в один день нашел.

Я отправился в престижный институт «Гидропроект», где в отделе кадров услышал про гидравлическую лабораторию. «Вы там нужны, вы там нужны!» – внушала мне седовласая кадровичка. Лаборатория находилась на краю города, в десяти километрах от дома. Я согласился сразу, хотя зарплату мне положили всего сто рублей,

в полтора раза ниже голодностепской. И на следующий день поехал на новую свою службу. Добирался сначала на автобусе, потом на трамвае, более часа. Когда моим транспортным средством стал велосипед, затраты времени на дорогу снизились до получаса. Я проезжал по улицам, которые знал и любил с детства – мимо своей школы и парка железнодорожников, пересекал Салар у Тезикова базара, спускался к Шота Руставели, а далее по ней до трамвайного кольца, все под уклон и под уклон. Возвращение домой занимало на пять минут больше, ведь педали приходилось крутить в горку и в поздние часы, летом очень горячие.

Лаборатория, наверное, и не заметила, что ее коллектив пополнился еще одним работником. Когда через четыре с половиной года я уходил из нее, я тоже не был фигурой знаковой, за которую следовало держаться двумя руками. Но не был я и одним из многих: на меня уже было за что положить глаз.

1. МОДЕЛИ

Меня встретили, как птенчика зеленоротого, которого надо наставлять и наставлять, прежде чем он сможет опереться на свои крылышки. Никого я своим приходом не осчастливил, мой голодностепский опыт здесь не значил почти ничего. Меня познакомили с коллективом. Две или три молодые женщины, мои сверстницы, мило мне улыбнулись, а одна, румянощекая девица, вчерашняя школьница, громко прыснула, увидев на мне кирзовые сапоги (в Голодной степи именно этот вид обуви прекрасно предохранял ноги от пыли, а иногда и от фаланг, которые были премерзкие существа). Мне показали модели, но я мало чего понял.

Гидротехнические сооружения, уменьшенные против природы в пятьдесят, а то и в сто раз, ставились в водный поток, который обтекал их точно так же, как впоследствии это будет делать настоящая река. Здесь действовали законы подобия, открытые еще великим Ньютоном. Со стороны же складывалось впечатление, что взрослые сидят на берегу веселого ручейка и играют в игрушки. Но это было обманчивое впечатление. Ибо на моделях рассматривались только те случаи взаимодействия воды и гидротехнических сооружений, которые не поддавались математическому расчету. Это, чаще всего, были сопряжения высоконапорных туннелей с нижним бьефом, так называемые водобойные колодцы с гасителями энергии воды, конструкция которых могла варьироваться в очень широких пределах. Так что вариант оптимальный мог много чего сэкономить. На это и делался упор.

В Ташкенте уже проектировались земляная плотина Нурекской гидроэлектростанции на реке Вахш, самая высокая в мире, на напор в триста метров, и бетонная плотина Токтогульской гидроэлектростанции на реке Нарын высотой 220 метров. Это были уникальные объекты, и от них требовалась стопроцентная надежность. Токтогульская плотина, например, должна была удерживать почти двадцать кубических километров воды. Промчась эта вода мутным валом по Ферганской долине, и десятки тысяч людей расстанутся с жизнью. Необходимая надежность и обеспечивалась расчетами и строгим контролем. Расчеты, естественно, включали в себя кропотливую исследовательскую работу, если в ней возникала нужда. Лаборатория, например, отвечала и на такой вопрос, какие беды натворит вода, вырвавшаяся из водохранилища, если плотина прекратит свое существование в один момент – будет сметена термоядерным взрывом или катастрофическим землетрясением.

Еще лаборатория моделировала перекрытие рек, или перепуск меженного расхода в новое русло, когда старое следовало освободить под плотину. Как только я пообвыкся и уяснил себе, что к чему, а на это потребовалось время, я увидел, что занимаюсь обычной инженерной работой, не заключающей в себе никаких особых сложностей и таинств. Вначале же я только удивлялся: ну и ну, куда это я попал!

На ташкентской южной окраине, на берегу канала Бурджар, который протекал здесь в глубоком лессовом каньоне, загрязненном бытовыми отходами большого города, вместе с нашей лабораторией располагалась материальная база изыскателей (буровые станки, вездеходы и прочая техника) с ремонтными мастерскими, а также наш научно-исследовательский отдел. Он включал в себя еще лаборатории фильтрационную, грунтовую, строительных материалов и конструкций. Они выдавали проектировщикам нужные им сведения и рекомендации, каждая по своему профилю. Но гидравлическая лаборатория была самая большая и занимала, наверное, половину общей территории, площадь которой была не меньше двух гектаров.

Вода на модели подавалась непосредственно из Бурджара, без какого-либо отстаивания и очистки, и ближе к зиме, когда Бурджар мелел раза в четыре, сильно отдавала отхожим местом. Владельцы частных домов, дворы которых выходили к каналу, ставили на его берегах свои туалеты. Это положение не нравилось никому, и года через три лаборатория своими силами построила большой резервуар чистой воды, кубометров, наверное, на пятьсот. Бетонную смесь на опалубку наносила цемент-пушка; это было эффектное зрелище. Плотность бетона достигалась такая, что гарантировалась водонепроницаемость. Когда резервуар наполнили чистой водой из городского водопровода, санитарные условия работы стали вполне нормальными. И про насосную станцию на берегу Бурджара забыли, как о дне вчерашнем.

Каждая модель строилась отдельно, со своим бетонным оголовком и со своим легким навесом, защищающим от непогоды, но не от зимних холодов и летнего зноя. Исследования велись до получения результатов, которые всех удовлетворяли. Движение к такому результату, осуществляемое обыкновенно методом проб и ошибок, могло продолжаться и год, и два (сопряжение Токтогульского строительного туннеля с нижним

бьефом мы обсасывали года два, если не больше, но выдали-таки конструкцию, высочайшую по своей эффективности – компактную, надежную и экономичную).

Результаты исследований обрабатывались в деревянном терем-теремке, посеревшем от времени. В нем было комнат пять – шесть. Заведующий лабораторией и двое руководителей групп сидели отдельно, как люди творческие и обремененные ответственностью. У каждого из них был маленький кабинетик, и если они курили, табаком пропитывались и воздух, и дерево стен. Инженеры и лаборанты размещались в больших комнатах, в которых столы стояли чуть ли не впритык друг к другу. Мне отвели письменный стол в комнате, где я стал пятым или шестым. Но так как каждый из нас больше времени проводил на моделях, чем за камеральной обработкой материалов, частенько случалось и так, что за своим столом я восседал в гордом одиночестве. Сразу скажу, что люди, мне неприятные, в лаборатории не работали, так что к гордому одиночеству я не стремился.

Но возводилось уже просторное двухэтажное здание, обещавшее сотрудникам уют и комфорт. Вот то, что я увидел в первые дни. Город обрывался в полукилometре за лабораторией, у кольцевой автомобильной дороги, которая достраивалась. На взлетную полосу аэропорта, с некоторых пор оказавшуюся в черте города, один за другим планировали самолеты. Взлетали они в другую сторону, на север. Садись самолеты почти бесшумно, и смотреть на них было интересно. Я вспомнил свои походы на Тал-арык; после восьмого класса мы проводили на этом канале, ставшем речкой, каждое лето. Тогда соседство с аэропортом было очень близким, и мы, пацаны, просто перебегали через взлетную полосу, которую еще не покрывал бетон. Самолеты, взлетая или садясь, оставляли за собой гигантский шлейф пыли. Увы, повториться эти походы уже не могли.

Воодушевила ли меня лаборатория?

Нет, я принял ее, как данность, уготованную мне судьбой. Да и чем, или как она могла меня воодушевить? Мечта же моя давно, со школьных еще лет, была нацелена совсем на другое поле деятельности: я хотел стать писателем. Отец, однако, сказал мне, что это мое желание может осуществиться при любой профессии, какую я ни приобрету. Профессия же необходима на тот случай, если мечта моя окажется эфемерной, не подкрепленной способностями. Поскольку сие вполне могло иметь место, совета отца я послушался, и никогда не жалел об этом.

Да, событие одно запомнилось мне. Оно произошло в дни, когда я осваивался на новом для меня месте работы. От строящегося здания лаборатории должен был ответвиться собственно исследовательский корпус, своей конструкцией напоминающий небольшой цех – с движущимся мостовым краном и подкрановыми путями под потолком. Корпус этот предстояло заложить на месте маленького домика и двора, принадлежащего узбекской семье. Во дворе росла груша величиной с дуб – в полтора обхвата, высокая, с могучей разветвленной кроной, кучно населенной воробьями. Таких огромных груш больше я нигде не видел. Плодовитое это дерево каждую осень давало до тонны плодов, то есть было деревом-кормильцем. И вот грушу срубили. Когда она рухнула, содрогнулась земля. Вся узбекская семья лежала в лежку и рыдала, такая это для нее была страшная беда. Старик-аксакал встал перед поверженной грушей на колени и поцеловал ствол, словно бездыханное тело. Когда он отходил от груши, из глаз его капали слезы. Увиденное потрясло меня, да и других не оставило равнодушными. Наверное, новый корпус можно было поставить и так, чтобы сохранить грушу – уже для лаборатории, не для узбекской семьи, которая отселялась. Надо было немного пошевелить мозгами, только и всего. Но автор проекта с этим не посчитался, не соизволил произвести дополнительные изыскания.

Первой моей моделью был Ангрнский обводной туннель, та его часть на незнакомом мне горном ущелье Наугарзансай, где происходило сопряжение напорной части туннеля с безнапорной. Сопрягающим сооружением был водобойный колодец. Поток под сорокаметровым напором должен был успокоиться в колодце и войти в концевую часть туннеля тихо и плавно, сменив свой буйный нрав на радушную улыбку молодого человека, привыкшего производить хорошее впечатление.

Модель была готова и испытывалась. Сам же туннель прокладывали для того, чтобы отвести реку в сторону от угольного месторождения. Сейчас она проходила прямо над пластом бурого угля толщиной 200 метров, что препятствовало его разработке. Других больших месторождений угля в Узбекистане пока открыто не было. Реку выше месторождения должна была перегордить плотина; она и создавала в туннеле сорокаметровый напор. Лет пятнадцать назад я купался в этом водохранилище, – когда в очередной раз спустился с Ангрнского плато. Вода была, как подогретая. Рядом со мной плыла тоненькая змейка, выставив вперед над водой черную треугольную головку. Мы не помешали друг другу. А в Наугарзансай я не забредал никогда и нашего водобойного колодца не видел.

Моей первой задачей было пропустить через туннель строго заданный расход. Паводок в 700 кубических метров в секунду (такой на реке Ангрн случался в среднем раз в сто лет и назывался паводком однопроцентной обеспеченности) на модели имитировался потоком в 28 литров в секунду, и этот расход я должен был выдерживать неукоснительно. Сделать это было не трудно, если работала одна наша модель. Бетонный оголовок, куда подавалась вода от насосной станции и где она успокаивалась, был оборудован трапецеидальным водосливом, точно дозирующим расход. Смотри на пьезометр, фиксирующий уровень воды перед водосливом, и регулируй задвижкой подачу воды, пока мениск в пьезометре не замрет на нужной отметке. Это я схватил, можно сказать, на лету: ничего трудного. Последние прикосновения к задвижке были мягкие, ювелирно точные. Когда же работали две модели, моя и нурекская, нужный расход устанавливался долго, ведь манипулировать

приходилось одновременно двумя задвижками. Если сосед изменял расход у себя, менялся он и на моей модели, и надо было снова приводить его к норме. Об изменении расхода мы предупреждали друг друга зычным криком или нанесением визита.

Как только расчетный расход устанавливался, можно было начинать опыты. В моем случае испытанию подвергалась очередная конструкция гасителей энергии воды – и сравнивалась с конструкциями предыдущими. Если в водобойном колодце становилось спокойнее, новая конструкция признавалась удачнее предыдущей. Нам надо было так соударить падающие под большим напором струи, чтобы они взаимно гасили энергию друг друга. Этой цели служили трамплин, подбрасывающий поток и его расщепляющий, и надолбы, на которые падали струи потока. Каких-либо предложений от меня не требовалось, моя самостоятельность и инициатива пока исключались начисто – они еще не котировались. И я исследовал варианты, предложенные заведующим лабораторией или руководителем группы, опыт которых заслуживал глубокого уважения.

Ангренский туннель мы изучали долго, с перерывом на перекрытие реки Вахш в створе Головной ГЭС, с веселой недельной поездкой на это перекрытие, которое рекомендации лаборатории блестяще подтвердило. Еще дольше я исследовал Токтогульский строительный туннель. Там было очень трудное сопряжение с нижним бьефом. Мы должны были погасить огромную кинетическую энергию паводкового Нарына и предохранить от размыва единственную дорогу, идущую на створ по правому берегу. Мы достойно справились и с этой задачей, нашли решение, которое всех устроило надежной своей простотой. Мы приподнимали паводковый поток трамплином в форме ромашки и широко его распластывали. Это лишало его главной ударной и разрушительной силы – компактности. Кстати, нашу конструкцию я видел в натуре, в дни перекрытия Нарына. Но тогда по туннелю шел не могучий паводковый расход пятипроцентной обеспеченности в две тысячи двести кубических метров в секунду (то есть случающийся, по теории вероятности, раз в двадцать лет), а спокойный меженный, в сто кубометров.

А через год или два, точнее, в июне 1969 года, небывало многоводном (тогда в Средней Азии выпала двухлетняя норма осадков), по Нарыну прошел гораздо более сильный паводок, чем расчетный, чуть ли не 2400 кубических метров в секунду. Такой паводок уже случался не раз в двадцать, а раз в двести лет. Но ни конечное сооружение туннеля, ни дорога не пострадали, таким серьезным запасом прочности обладала конструкция, предложенная лабораторией.

Было еще исследование перекрытия Нарына, на этой же модели – мы на ней дополнительно воспроизвели русло реки. Это было куда проще, чем подобрать конструкцию трамплина-растекателя. Я изображал колонну мощных самосвалов и с интервалом в десять секунд сбрасывал в проран то двадцатитонный бетонный кубик (его имитировал цементный кубик с поперечником в три сантиметра), то десять кубометров рваного скального камня (спичечный коробок крупнозернистого песка). Делал это я под мотив: «А я бросаю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза!» Тут ничего не надо было придумывать, а только фиксировать уровень реки на водомерных постах и расходы материалов. На модели было прекрасно видно, до каких пор следовало сыпать в проран рваный камень и когда заменить его на бетонные кубики, чтобы уменьшить разнос материалов потоком, напор которого все увеличивался. Когда перепад на проране достигал метра, мы переходили на бетониты, и 60 – 70 кубиков весом в 15 тонн делали свое дело – закрывали проран.

Выходит, я четыре с половиной года исследовал только две модели? Получается так. На русловых моделях я работал мало, ими занимались другие. В то же время, дни, месяцы и годы работы в гидравлической лаборатории летели удивительно быстро и для меня совсем не обременительно. Рано утром я выводил на улицу велосипед, защемлял бельевой прищепкой правую штанину брюк, чтобы она случайно не намоталась на шестерню – и вперед, по прохладному еще городу! А в пять часов – обратно, в горку, по жаре и по направлению к дому! Воду пустил – воду перекрыл, а в промежутке произвел нужные записи в журнале наблюдений. Если надо, поменял исследуемую конструкцию и снова произвел нужные записи. Ничего сложного, когда это происходит изо дня в день.

Не помню, чтобы на этой работе у меня возникали недоразумения, чтобы я попадал впросак, кого-то подводил. Если и выдавались авралы, то не часто. Размеренность и ритм влекли за собой определенность. В свой час приходили проектировщики, обступали модель, стараясь, конечно, не ступить лишнего шага и не сделать опрометчивого движения. Проектировщиков отличала одежда, праздничная по сравнению с нашей. А вот уверенности им часто не доставало, ведь они приходили не вещать, а вникать и слушать. Им обыкновенно предлагали посмотреть вариант, достойный стать итоговым решением. Как правило, они с нами соглашались; я не помню, чтобы хотя бы раз восторжествовало мнение, противостоящее мнению лаборатории.

К приходу проектировщиков мы специально не готовились и ничего не вылизывали – до показухи не опускались. И, конечно, гостей не отводили потом в укромный закуток и не потчевали водочкой, в знак дружбы и приязни. Делалось общее дело, оно и подвергалась общему досмотру, общей ревизии – для пущей прочности. Часто итоговый вариант, рожденный в лаборатории, существенно отличался от первоначального, вбиравшего в себя непомерный запас прочности. Иногда экономия составляла десятки тысяч кубических метров земляных работ или скальной выломки, тысячи кубометров железобетона. В денежном исчислении это тянуло на миллионы рублей. За это полагалась премия, и она выплачивалась, но в размерах, не сопоставимых с достигнутым

экономическим эффектом. Я не помню, чтобы моя премия когда-либо превысила половину оклада, который на четвертый год работы вырос аж до 120 рублей в месяц. Что ж, инженеру в нашей стране надо было дорасти до очень высокой должности, чтобы стать высокооплачиваемым работником.

Все исследуемые модели в самой же лаборатории и изготавливались. Материалы всегда были самые обыкновенные – стальной прокат, бетон, дерево, стекло и плексиглас (лист плексигласа разогревался в печи до заданной температуры, а затем из него формовались трубы, имитировавшие туннели со всеми их изгибами и поворотами), песок, из которого отсыпалось русло. Точность соблюдалась, но микронов мы не ловили, дерево и плексиглас не те материалы, где их можно поймать. Наиболее ответственные детали моделей поручались умельцам. Умельцы, как везде, и в лаборатории были наперечет и часто зарабатывали больше заведующего лабораторией.

Расходы воды, ее скорость и давление измерялись самыми простыми приборами. Электронные датчики, фиксирующие пульсацию давления в туннелях, впервые у нас появились в 1965 году, и мы в них мало чего понимали. Их на модели ставили головастые мальчики из нашего же института, из какого-то засекреченного отдела. Очень деловые, подтянутые, они с нами почти не общались и нашим глазастым лаборанткам свиданий не назначали. Фотографировали мы сами. Наиболее ответственные моменты испытаний фиксировал киноаппарат. Для проявления пленки и печатания снимков существовала темная комната, которую под другие нужды не занимали. Самыми впечатляющими были модели нурекских туннелей; их закрывал самый высокий тепляк. Сметы на модельные исследования мы тоже составляли сами. Их стоимость редко была ниже двадцати тысяч рублей и выше ста тысяч.

Должен заметить, что от величины сметы наша зарплата не зависела никоим образом. И все-таки в смету лучше было заложить побольше денег, чем поменьше. Помню, резервуар чистой воды емкостью в пятьсот кубометров был заложен в одну из нурекских смет и затем благополучно построен, причем был использован метод нанесения бетонной смеси на опалубку цемент-пушкой, очень перспективный.

11. ЛЮДИ

В лаборатории работали несколько другие люди, нежели в Голодной степи. У них за плечами не было темного или несправедного прошлого, и оно не определяло их поведения. Они никогда не выставляли вперед острые локти и не кичились крепкими плечами и крутой хваткой. Спокойно довольствовались тем, что имели, полагая, конечно, что со временем будут иметь больше, а через двадцать лет и вовсе станут жить при коммунизме (в этом торжественно заверил советский народ его лидер Никита Сергеевич Хрущев, а народ, как и должно быть, этому высосанному из пальца заверению поверил). Они работали без интриг, дружно и слаженно, как члены одной сплоченной команды, которую подготовили для большого дела, и если и выказывали кому-нибудь неприязнь, то самым нерадивым, о равнодушие и лень которых уже надоело спотыкаться.

Большую часть коллектива составляла молодежь, мои одноклассники, а то и вовсе парнишечки и девочки послешкольного возраста, наивные и милые в своей всегдашней непосредственности. Только руководители групп были постарше, посолоннее. А лабораторией заведовал и вовсе замшелый старик, седовласый и худой почти до полной прозрачности. Это был насквозь прокуренный человек с глубокими знаниями, включающими в себя и знания профессиональные, и колоссальный жизненный опыт.

С него, пожалуй, я и начну рассказ о людях, с которыми свела меня лаборатория. Старика звали Яков Александрович Никитин. Он прошел войну. В 1942 году его спешно обучили артиллерийскому делу, и с середины войны и до ее конца он командовал батареей. Участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Прибалтики. В конце войны был контужен при обстоятельствах, не делавших чести его командиру (тот глупо и высокомерно подставил его и себя под огонь противника). Мы долго не знали про его контузию. И когда он приходил на модель и садился у потока, неспешно наблюдая, как вода взаимодействует с сооружением, его руки мелко дрожали, и техник Юра Тимошенко говорил, что это после ста граммов. Никто, правда, не замечал его отлучек за ворота учреждения для принятия ежедневных ста граммов. Но от своей версии мы не отказывались, она почему-то нравилась нам. Бутылочку же было можно принести из дома и не бегать за ней среди дня. Когда мы узнали правду, нам стало очень стыдно.

Старик был чрезвычайно сведущий человек. Своим авторитетом не давил, и работать с ним было легко и интересно. Однажды он заболел, и я проведаль его. Он жил на другом краю города, близ улицы Циолковского, в собственном доме, который стоял на земле, среди яблонь, вишен и виноградных лоз. Тогда он и рассказал о себе, фронт вспомнил и боевые эпизоды, закончившиеся для него благополучно. Его годы, к сожалению, быстро катились к закату. Умер он в начале семидесятых годов, от редкой болезни крови, которая высушила его до состояния тонкого и прозрачного листка бумаги. Во Фрунзе, в газете «Советская Киргизия», я опубликовал очерк «Запас прочности», в котором отдал должное этому скромному, но исключительно цельному человеку. Помню, шел конкурс, и за этот очерк я был премирован второй премией, или ста рублями (первая премия, естественно, не была присуждена никому). Я наделил большим запасом прочности и самого Никитина, и все, что он делал, и это

было справедливо. Затем я превратил очерк в рассказ «Старик», внося в него некоторые изменения. Этот рассказ опубликовала газета «Зеркало» к одному из дней победы.

Лаборатория делилась на две группы (позже их станет три, потом четыре), и одну из них возглавлял Ефим Ильич Дубинчик, а вторую Юрий Павлович Бурцев. Когда года через три образовалась еще одна группа, ее возглавил некто Мезенцев, но Мезенцева я запомнил плохо. Эта группа собиралась исследовать модели в воздушном потоке, но я так и не увидел, что это такое. С водой, обтекающей модели, все было ясно-понятно, а при ее замене воздухом мы могли потерять адекватность.

Ефим Ильич был старше меня лет на семь-восемь. Его несуразная, несобранная, согбенная фигура говорила о том, что уроки физкультуры он не жаловал никогда. Флегматик по складу характера, он не только не создавал конфликтные ситуации, но всячески избегал их. Сделать подчиненному замечание ему было трудно, и лаборантка Тонька Михайлова, разбитная и наглая, этим пользовалась в свое удовольствие. Но Тонька была у нас в единственном экземпляре, ее примеру мы не следовали, и порядка в нашей группе было побольше, чем у Бурцева. Потому что сосредоточенность Дубинчика на работе, на порученном ему деле была поразительная. Он работал и постоянно курил, и над его головой со взъерошенными волосами вился сизый дымок дешевой сигаретки. Он воодушевлял нас своей преданностью делу. Ему поручали, и он тянул; к нему прицепляли еще один вагон, и он тянул лучше, сильнее. По части выдачи идей он не опережал Старика (так мы за глаза звали Никитина). Но на подведомственных ему моделях мы испытывали только такие конструкции, у которых могло быть будущее. Мысль его всегда имела конкретное направление; растекаться по древу, фантазировать на технические темы он не то чтобы не любил, а не был приучен. Модель, как я быстро понял, уважала конкретику и на конкретике покоилась.

Когда подпирало, его не надо было просить задержаться, он это делал без просьб Старика. Надо, и точка. Естественно, он никогда не заводил разговор об оплате за сверхурочные часы, он считал это дурным тоном. О его семейной жизни я не знал ничего, это была его заповедная территория. Не знал я и мира его увлечений; на темы, далекие от работы, мы не разговаривали, значит, ни ему, ни мне это не было нужно. К одежде он был равнодушен, то есть одевался, как все. Не помню случая, чтобы обновы смотрелись на нем лучше, чем старая одежда. Кажется, он писал кандидатскую диссертацию. Опять же, это было его личное дело, нас не касавшееся. Упаси Боже было ему выступить с инициативой расслабиться, пропустить сто граммов. Эти вещи обходили его стороной, прежде всего по той причине, что совсем его не занимали. Выпившим Ефима Ильича я увидел лишь однажды, на каком-то празднике, который отмечал весь коллектив. Ну и что? Он воодушевился, щеки его налились розовостью, но откровений и душевных излияний за этим не последовало, его взгляд не приклеился ни к одной хорошенькой нашей сотруднице. Он просто немного расслабился, и все.

Проблем по работе у меня с Ефимом Ильичем не было, они просто не могли возникнуть. Ведь на ровном месте проблемы обыкновенно не возникают. Своего одобрения или неодобрения он не выказывал, о выполненной части работы говорил: «Хорошо!» И сразу сосредоточивался на продолжении. Не знаю, подходили ли к нему с житейскими делами, с наболевшим, не касавшимся работы. Он всегда был при деле, и всегда над ним вился сизый дымок сигаретки. После моего ухода он проработал еще долго, но я с ним не встречался и о достигнутых им высотах осведомлен не был. Когда лаборатория окончила свое существование (закрылась за ненадобностью), он отбыл в Израиль. И то правда, все, кто не был узбеками, в это время тихо куда-то отбывали.

Я изобразил его в повестях «Пики Тянь-Шаня» и «Стена», но не буквально изобразил, приписал ему поведение, ему не присущее, и поступки, которые он не совершал. Ничего необычного в этом не было, литературные персонажи далеко не во всем повторяют свои прототипы. Как он на это прореагировал, мне неизвестно. В Израиле едва ли он работал, хотя желание и умение работать у него было на первом плане. Вне работы он не чувствовал себя в своей тарелке, так его воспитали. Мне бы очень хотелось, чтобы он был еще жив, но так ли это или нет, я не знал. Я давно уже корил себя за то, что потерял его из вида.

Юрий Павлович Бурцев был человек другого рода и к работе относился куда более спокойно, как к данности, которую не миновать. Он рано располнел и начал терять волосы. Недавняя двухлетняя командировка в Афганистан позволила ему приобрести «Москвич», и он единственный в лаборатории приезжал на работу на машине. Но шика при этом не было никакого, и, уезжая домой, он забирал с собой тех, с кем ему было по пути. Он мог выпить с нами, но не злоупотреблял этим и первый инициативу не проявлял. Любил командировки. Ему нравилась безнадзорная, вольная жизнь в маленьких городках, где строители жили скученно и дружно. Диссертацию он не писал, научные звания и степени душу ему не грели. Ему легко открывалось состояние другого человека. Он угадывал с одного взгляда, кому плохо, и ему хотелось узнать, что произошло. Его подчиненные знали это и сторонились Юрия Павловича, когда на душе у них поскребывали серые кошки. Эту свою проникновенность Бурцев, конечно же, не афишировал.

Открытого соперничества между ним и Дубинчиком я не отмечал, оно если и существовало, то на обозрение не выставлялось. Но в группе Бурцева было больше вольностей, чем в нашей. Когда я купил мотоцикл, Юрий Павлович помог мне освоить правила дорожного движения, съездил со мной в Алмалык. Майские холмы, густо покрытые маками, были зрелищем потрясающе сильным. До этого я знать не знал, что холмы под маками могут быть сплошь красными, без единого зеленого мазка – точь в точь как на полотнах Мартироса Сарьяна.

Уйдя из лаборатории, я потерял Бурцева из вида. Я больше не слышал о нем ничего.

Старшим инженером у Дубинчика работала Виолетта Вильгельмовна Артук. В отличие от меня, после института она сразу пришла в лабораторию и занимала ступеньку повыше, чем я, просто инженер. Незамужняя, высокая, длиннорукая, плосколицая, со щеками, запятыми широкими веснушками, она заранее была согласна с тем, что женской красоты и обаяния на ее долю природа отпустила скупое. Но взгляд ее отличался пылливой проникновенностью и говорил о характере сильном, умеющем постоять за себя и настоять на своем. Силу своего характера Виолетта Вильгельмовна открыто не проявляла, стремилась, чтобы по ее получалось как бы само собой. Она могла показать и зубки, но лишь тогда, когда ее к этому вынуждали долго и упорно. Модели у нее были в основном русловые, и сначала она перекрыла реку Сырдарью в створе Чардаринской ГЭС, затем – реку Вахш в створе Головной ГЭС и у Нурека.

В работе она была великая аккуратистка и педант; это было именно то, что и требовалось лаборатории. Одевалась просто, прекрасно знала, что никакая одежда не выделит ее и не возвысит. Цвета выбирала нежно-синий и нежно-зеленый, гармонизировавшие с ее глазами. Обожала пинг-понг и в обеденный перерыв азартно сражалась с партнером мужского или женского пола, разогревая себя эмоциональными возгласами. Часто ее соперником по настольному теннису был Юрий Тимошенко, разбитной и общительный техник двадцати лет. Он же часто работал на ее моделях. Расположения друг к другу на людях они не выказывали, и для меня было большой неожиданностью, когда они поженились – тихо, без помпы и шума. Не помню, чтобы кого-либо из нас они пригласили на свою свадьбу; возможно, ее у них и не было. Они были разные до полной противоположности. Но противоположности взяли, потянулись друг к другу и соединились. Мы попялили глаза на это неординарное событие, но первым делом, конечно, от души поздравили молодоженов.

Жизнь потом не развела их, одарила двумя детьми; на большее они не потянули. Юра позже закончил заочно ирригационный институт, догнал супругу. Три года назад я встретил его в Среднеазиатском научно-исследовательском институте ирригации, он занимал там какую-то руководящую должность. Он сказал, что здесь русским ничего не светит и что они собираются перебраться в Россию. Увидел я и Виолетту Вильгельмовну, уже не работавшую. Она раздобрела, стала еще более угловатой, но из своих положительных качеств не утратила ни одного. Возможно, она приобрела новые положительные качества, но краткие минуты общения не позволили мне выделить, какие. Вскоре супруги Тимошенко действительно уехали. Где они обосновались в России, не знаю.

Через год после меня в лабораторию поступила Людмила Никитина, однофамилица Старика и школьная подруга моей сестры Ольги. Людочка росла недалеко от нас, бывала у нас дома, но я с подругами сестры общался очень кратко, в общие игры мы не играли, в парк и в кино я их не приглашал. В институт она и сестра поступали вместе. Миловидная, стеснительная, Людмила быстро привлекла внимание техника Анатолия Федорова, невысокого крепыша, в армии в должности сержанта обслуживавшего боевые самолеты. Но ответного всплеска интереса с ее стороны не последовало, она вышла замуж уже после моего ухода из лаборатории за представительного мужчину со стороны, строителя, которого звали Федором. Родила Феде двоих дочерей, и какое-то время, в восьмидесятые годы, мы дружили домами, встречались у Ольги. Но Федя стал пить и спиваться, и это подкосило Людмилу. Она умерла в одночасье в возрасте пятидесяти лет, а Федя запил еще сильнее. После смерти Милочки точек соприкосновения с ее семьей у нас не осталось.

Колоритной личностью в группе Бурцева был инженер Георгий Колпаков по прозвищу Гарри Стоптаный Башмак. Он любил дарить всем прозвища; ответное прозвище приклеилось к нему очень быстро. Худой, высокий (к окуляру нивелира он склонялся, почти переламываясь в пояснице), еще и рыжий, с красным носом, выдающимся вперед, словно бушприт, он радушием и панибратством олицетворял своего парня. Казалось, если он когда-нибудь захочет обнять весь мир, это ему удастся без особого труда, такими широкими были его объятия. Большие веснушки густо покрывали впалые его щеки и острые скулы; его тонкие руки и ноги походили на шарниры. Несуразность из него так и выпирала. Но она и привлекала в нем, как ничто другое: вот вам готовое представление, развлекайтесь, и в театр идти не надо.

- Как вам мои ботиночки? – вопрошал он, обувшись в штиблеты невообразимо желтого цвета. – Тихоокеанские лайнеры, правда? В них я покорю столько женщин, что мало не покажется даже мне. Мальвина, ты будешь первая! – обращался он к Никитиной, с которой вместе учился в институте (или к Галочке Савич, или к Королеве Марго). – Я буду твой Буратино, но от нашей взаимности должна быть польза, так что ты сделаешь меня богатеньким Буратино. Лады, дорогая?

- Каким это образом? – вступала в игру Людмила Никитина, запрокидывала голову и кокетливо закатывала глазки.

- Ты родишь мне десятерых детей. Отца десяти детей никто не назовет бедным человеком. Согласна? Тогда мы двигаемся в ЗАГС прямо сейчас. Граждане, готовьтесь раскошелиться! Поздравления без подарков не принимаются!

Работал он как бы между прочим, зато обожал поговорить на отвлеченные темы – в рабочее, конечно, время. Тут ничто не мешало ему растечься мыслью по древу. От него часто исходил клич: «Ну, что, господа-товарищи, по доллару!» Это означало, что обед будет с маленькой выпивкой, ведь на рубль особенно не разгонишься, даже если брать самое дешевое вино и закусывать одним хлебом и редиской. Нахрапистость легко

уживалась в нем с детской стеснительностью и деликатностью. Он любил остановиться перед какой-нибудь нашей раскрепощенной девицей (чаще всего это была Галочка Савич), преданно посмотреть ей в глаза, расплыться в улыбке и сказать громко, чтобы разнеслось далеко:

- Дорогая! Я давно хочу тебя осчастливить. Я хочу подарить тебе говорящую куклу, которую мы назовем Олечка или Толечка, это уж как получится. Ты согласна?

На согласии он настаивал обязательно. Девица рдела и почему-то одергивала подол, который, конечно, был в полном порядке. Увы, ни одну из ярких наших красоток он говорящей куклой не осчастливил. Его командировка в экзотическую Эфиопию в конце шестидесятых годов завершилась приобретением какой-то нехорошей тропической болезни, которая очень сократила его жизненный путь. Умер он рано и никого после себя не оставил. Я узнал о его смерти поздно и случайно, лет через пять после того, как он ушел из жизни.

Инженер Рустам Раззаков был в лаборатории единственным представителем коренной национальности. Он поступил вместе с Колпаковым. Он был такой же худой, как Колпаков, но не несуразный. Легко вступал в контакт, сразу откликался на любые инициативы. По доллару – пожалуйста! Посостязаться в толкании ядра – пожалуйста (неважно, что он толкал его всего метра на четыре; пусть другие толкают дальше и торжествуют). Посостязаться в прыжках с места – тоже пожалуйста! Кто дальше, тому и аплодисменты! Позже он защитит диссертацию и продвинется на избранном поприще до начальника какой-то важной проектной конторы. Не так давно мы встретились. Он славно улыбался, но душевного контакта у нас, увы, не получилось, и мы ничего не вспомнили. Наверное, время было упущено безвозвратно.

Да, техником у нас работала Раиса Ильясова, тихая, не выдающаяся женщина лет тридцати пяти. У нее был опыт, и ей часто поручали самостоятельные исследования, как инженеру. Первые роли были не для нее, она их сторонилась. В компании она тоже вела себя тихо и незаметно, словно стеснялась самого своего пребывания на этом свете. Жила она одна, семьи не создала. Она тоже умерла рано.

Лаборантки Антонина Михайлова, Галина Савич и Маргарита Баскакова все были яркие, как на подбор, и все принадлежали кистям разных художников, абсолютно не повторяющих друг друга. Года через два к ним присоединилась Лидочка (ее фамилию я не запомнил), особа, прелестная во всех отношениях и легко затмившая Тоню, Галину и Марго и по отдельности, и гамузом, вместе взятых. Лидочка была тот еще ананасик.

Антонина была дородна, как румяное наливное яблоко. Она весело и круто выпирала во все стороны и из платья, и из трико, в которое облачалась для работы. Ее всегда и везде было много. Но много не означало красиво, этого не было и близко. Переборщив в количестве, природа недодала ей в качестве. Нос пуговкой на румянном круглом лице, бегающие маленькие глазки с хитринкой, говор с волжским навязчивым оканьем. Первое впечатление: свой человек, из российской сельской глубинки. Но это впечатление обманывало, и очень быстро. Работать Антонина не любила и беззастенчиво спихивала свои обязанности на других, на меня в частности, ибо ее постоянно приставляли ко мне. Она имела удивительную способность исчезнуть, раствориться в воздухе в мгновение ока. Вот она здесь, только что крутила задвижку и устанавливала расход, и вот ее уже нет, и никакой крик до нее не долетает. Искать ее себе дороже, только время упустишь.

То, что можно было сделать за нее, я делал. Я пересек за нее горы песка (из него мы формировали русло Нарына, и после каждого опыта это надо было делать заново), выполнил массу другой работы. Но ставить вместо нее рейку на водомерные посты я не мог, ибо одновременно я должен был брать отчет по этой самой рейке, стоя у нивелира. Сливняв в сторону, она, чаще всего, заваливалась спать, а место выбирала так удачно и в таком потаенном закутке, что ее никто не мог разыскать. Наверное, спускалась к Бурджару, на его бережок, травкой поросший. Выспавшись, она объявлялась, как ни в чем не бывало. По воскресеньям она занималась в велосипедной секции. На это ее хватало. Нагонявшись до седьмого пота по загородным дорогам, она потом отдыхала на работе. Компании она уважала, но из наших ребят к ней не клеился никто, по причине ее громоздкости или по какой-либо другой. Как потом сложилась ее жизнь, я не знаю.

Галочка Савич, глазастая, как сова, подвижная и полная эмоций, от работы не отлынивала. Отличительной ее чертой было умение удивляться событиям самым незначительным. «Ой, девочки! – всплескивалась она в дамской компании, - знаете, что...» И начинался звонкий плеск эмоций, который заканчивался не скоро. Ей внимали с раскрытыми ртами, а ведь к чужим тайнам она даже не прикасалась.

Она легко воспламенялась и горела синим пламенем прямо на наших глазах. Сгорала, то есть перегорала, тоже быстро. Вдруг какой-нибудь славный юноша из соседней лаборатории влюблялся в нее, увлекал на берег Бурджара, подальше от людских глаз, и она висла на нем среди одуванчиков и кустов шиповника. Тогда ни о какой работе не могло быть и речи. Потом этого юношу заменял другой парнишечка, потом третий – постоянство не было свойственно лукавой и расторопной Галочке Савич. Она могла пропасть на день и на два; это означало, что парень объявился у нее на стороне. Потом она появлялась, как ни в чем не бывало; Дубинчик объяснений у нее не спрашивал, все было ясно и так. А до Старика ее отлучки даже не доходили, он был выше этих мелочей жизни. Ему о них и не докладывали. Савич фигурировала у меня в романе «Пахарь». Она была в нем настолько узнаваема, что не выдержала правды о своих загулах, застеснялась и уволилась. Ей сказали:

- Не дури! Тебя прославили, теперь ты человек известный! Теперь ты наша достопримечательность! Готовься встать на пьедестал!

И она вернулась, она привыкла к лаборатории и не могла без нее. Стала ли она женой и матерью, не знаю. Стала, конечно, но уже за пределами моего восприятия. Она прочитала мою повесть «Стена» в первом рукописном варианте, удивилась, округлила глаза и сказала: «Петрович, у тебя все люди с изъятиями, ты не любишь людей!» Ума не приложу, что подвигло ее сделать такой вывод. Еще она назвала меня дураком за то, что я положил глаз на Наташу. Что она при этом вкладывала в слово «дурак», я тогда не спросил, а подробности могли быть очень даже интересные. Но тут я забегаю вперед, а этого делать не следует.

Маргарита Баскакова (Колпаков называл ее «Королева Марго») была поминиатюрнее Антонины и Галины, эмоциями направо и налево не разбрасывалась, держала их в узде, в работе отличалась старанием и прилежанием и любила, когда ее за это хвалили. Глазками посверкивала, но в меру, не перебарщивала. Я сожалел, что она работала не со мной. Среди дня, в тишине, которая всем надоела, она вдруг могла пуститься в пляс, посверкивая глазами, как цыганка. Она стала героиней моего рассказа «Хороши вечера на Оби», опубликованного, к сожалению, сорок лет спустя после написания. Так что если она и угадала себя в отрывной девчонке, которая страстно влюбилась, а потом не по своей воле рассталась с любимым, то подняться, обвести всех лучезарными очами, гордо повести плечами и сплясать, как тогда, уже не могла, годы не позволяли. Только едва ли она прочитала этот рассказ.

А Лидочку я вывел этаким папой в «Пиках Тянь-Шаня». Парни слетались к ней отовсюду в неимоверном количестве, как мухи на мед. Она была, как центр притяжения, отдельный от земного. И, ведь, было на что лететь, было чему изумляться. Красотка она была писаная, законченная, а веселый и добрый нрав только усиливали эффект. Парни прибегали к ней чуть ли не толпами, и она, как Том Сойер, спокойно перепоручала им свою работу. Она повелевала ими, как хотела. Ее долго обхаживал один инженер из фильтрационной лаборатории. Но появился кто-то новенький, повыше ростом и поваляжнее, и умчал ее в Москву. Сложилась ли ее судьба счастливо? Не уверен, а хотелось, чтобы было именно так. Когда мужское внимание к женщине слишком велико и обильно, это мешает семейному счастью. Ведь новенький, умчавший Лидочку в столицу, едва ли был последним в списке ее почитателей.

И лаборантик вклинился один в сплоченную среду лаборанток – подросток Борис Измайлов. Продолговатая белесая его голова очень походила на дыню, поставленную на попа. В шестидесятые годы фору при поступлении в высшие учебные заведения получали те молодые люди, у которых было два года производственного стажа. И долговязый Борик этот стаж зарабатывал в нашей лаборатории. Естественно, стараться и напрягаться ему было ни к чему, и ни к чему было повышать свой профессиональный уровень. Он мог часами состязаться с Колпаковым, кто кого наградит более липучим прозвищем, или в других столь же никчемных вещах. Он был апатичен, и с него не требовали лишнего. Наверное, кто-то замолвил за него слово, а нам человеком больше, человеком меньше – какая разница! Платили-то нам повремененно. Работа, все же, почище, чем на заводе, а люди вокруг поинтеллигентнее.

Два года мы были осчастливлены присутствием Бориса, затем он помахал нам ручкой. Поступил ли он в институт, не знаю, скорее всего, поступил, ибо соблюдать свой интерес он научился рано. Зато достоверно знаю, что ни в одну из наших девчонок он не влюбился. Антонина и Галина, да и Марго были для него великовозрастны и недостаточно изысканны, а от красоты Лидочки его попросту оттерли, отлучили, как недостойного на нее претендовать. Единственным человеком, рядом с которым Борис смотрелся нормально, был Георгий Колпаков: несурзанность одного как бы уравновешивала несурзанность другого. Жора бросал ему при встрече: «Привет, Фурункул!» На что Борис отвечивал: «А, Жора, поддержи мой макинтош!» Или: «Мое почтение, Мужчина огромного роста!» Или: «Здравствуй, здравствуй, Гарри Стоптаный Башмак!» Им вдвоем не было скучно, они приятно коротали время, и жалко, что они не были братьями.

У меня осталось очень теплое отношение к умельцам, изготовлявшим модели – сварщику Якову Филипповичу Шварцу, столяру Дмитрию Терентьевичу Буркину. Это были работники высочайшей квалификации и редкой добросовестности.

Шварц, немец по национальности, работать пошел в войну пятнадцатилетним подростком. Призыву в армию он не подлежал, советским немцам Сталин оружия не доверил, и его направили в другую армию – трудовую. Крепкий необычайно, на земляных работах он выполнял норму к обеду, а далее работал или нет, как когда. С ним боролись ребята килограммов на двадцать тяжелее, и он играючи, не напрягаясь, клал их на лопатки. Необыкновенную силу заложила в нем природа. Его увидел тренер по штанге, умолял прийти в спортивный зал, тренироваться. Сулил светлое будущее, славу (они придут потом к Рудольфу Плюкфельдеру). Он отказался, а причину отказа объяснил очень доходчиво: «Не хочу, чтобы мне было хорошо, когда всем вокруг муторно и плохо». Интересно объяснил, посредствомности так свои поступки не мотивируют.

Варил он ювелирно, материал чувствовал отлично, работал, не покладая рук, и вольтова дуга в брезентовых его рукавицах не гасла, пока не кончался электрод. Подсобники у него менялись часто. Мало кто выдерживал его темп; его требовательность была жестка, почти беспощадна. Снисхождения он не делал никому. «Старайся или уходи!» – говорил он очередному рослому парню, который не выдерживал такого напряжения. У него тяжело заболела и долго мучилась жена, пораженная раком желудочно-кишечного тракта. Когда врачи отказались ее лечить, он призвал на помощь знахарок, и те своими травками и отварами, своими заговорами

на два года на два года отдалили от нее смерть. В «Пиках Тянь-Шаня» я сделал его отцом Левки, персонажа сначала отрицательного, затем положительного, и его попытку продлить жизнь жены проследил очень подробно, до самого трагического конца. Общество Якова Филипповича мне нравилось, и я приглашал его на наши фестивали, если они происходили не в обеденный перерыв, а в конце рабочего дня. Тогда ему ничто не мешало присоединиться. Говоруном он не был, ему больше нравилось слушать. К водке, как и к себе, он относился уважительно, не перебирал никогда.

Буркин очень мало походил на Шварца, разве что въедливостью и рабочей смекалкой. Крепко скроенный, рослый и жилистый, он совсем не накопил жирка между кожей и мускулами. Его приглашали изготавливать мебель на заказ, он уходил, какое-то время делал мебель, потом возвращался в лабораторию, к моделям. Делать модели было куда интереснее. Для работы с деревом у него была масса приспособлений. Они занимали у него несколько стеллажей. Их назначение я мог уяснить себе только тогда, когда он при мне ими пользовался. Ибо у других краснодеревщиков ничего подобного я не видел.

Любимой его присказкой была: «Велика у стула ножка, отпилим ее немножко!» Произнеся ее нараспев, со смаком, он брал пилу или рубанок и убирал с заготовки лишнее. В войну, в 1941 году, Дмитрий Терентьевич попал в плен – под Вязьмой, при октябрьском немецком наступлении на Москву. Его часть немцы загнали в болото, и ему оставалось или поднять вверх руки, или пустить себе пулю в лоб. Двое из его роты так и поступили, остальные двадцать семь сдались. Он переживал это, как личную трагедию. Зато он жил и приносил пользу, и у него родились дети. Он считал, что всем этим искупил свою вину.

Туннели он делал из плексигласа. Для того, чтобы плексиглас хорошо гнулся и легко принимал нужную форму, его следовало разогреть. Буркин построил электрическую печь со многими спиралями, в которой нагревал листы плексигласа. Температура в ней без всякой электроники поддерживалась с точностью до двух градусов. И если ему нужна была температура в 220 градусов, она могла быть 219 или 221 градус, но никак не 218 или 222. Этой печью он гордился, как личным достижением. С ее помощью он мог формировать туннели какой угодно конфигурации, выдерживая размеры с точностью до половины миллиметра.

Работая, снимая стружку, он неизменно улыбался и слегка прикусывал губу. Не было заметно, чтобы он спешил, гнал паровоз. Но если это же дело поручалось другому столяру, тоже не белоручке, у того уходило времени вдвое, а то и втрое больше. Со своими помощниками, в отличие от Якова Филипповича, он срабатывался со всеми. Он никогда и не требовал с них сверх того, что они могли и умели, но своим примером вдохновлял их на то, чтобы они старались мочь и уметь. К моему глубокому сожалению, после ухода из лаборатории я ни с ним, ни с Яковым Филипповичем не встречался.

Насосной станцией заведовал благообразный старец Иван Иванович Мокеев, бывший танкист. Его станция находилась глубоко внизу, у воды, в каньоне, и к ней вело много ступенек. Когда надо было пустить насос, лаборантка или я спускались к нему, приветствовали его и просили воду, и через пять минут можно было крутить задвижку. Ему нравилось его уединение. Смазав подшипники, он заваривал чай по своему вкусу и чаевничал сам на сам, а потом читал под мерное гудение электродвигателя. Но однажды спустились к нему вниз и нашли его бездыханным. «Дядя Ваня, дядя Ваня!» А дядя Ваня готов предстать перед Богом. Скорая приехала быстро. Его отвезли в институт переливания крови, который находился неподалеку, и выкачали из него три литра крови – на благо живым. Ибо ему его кровушка, пока еще не свернувшаяся, была уже не нужна. Кто заменил Мокеева, я не помню.

Кто-то еще поступал в лабораторию и вскоре увольнялся: или ездить было далеко, или не устраивала маленькая зарплата. В моей памяти эти временные люди не отложились, и сказать о них я не могу ничего, кроме одного: да, они были. Что ж, далеко не каждому, с кем сводит нас жизнь, дано оставить свой след в наших душах. Это можно сказать и про нас, грешных. Мы тоже западаем в душу далеко не всем, с кем встречаемся и работаем.

111. НАТАША

Теперь я должен рассказать о человеке, который превратил мое пребывание в лаборатории в праздник продолжительностью в два года – о Нателле Шотовне Концистор. Когда я поступил на работу, она моталась в долгой, но престижной командировке. Я увидел ее только недели через три. Познакомились, поприветствовали друг друга, сели за соседние столы – и неожиданно улыбнулись этому соседству. Она работала в группе Юрия Павловича, исследовала Нурекские туннели.

Слово за слово, и кое-что я выведал у нее. Мать у нее была еврейка, отец – грузин. Впрочем, отец не жил с ними, и она никогда о нем не упоминала. Грузинское начало в ее лице преобладало над не грузинским. Густые ресницы широко распахивались, большие карие глаза смотрели лукаво, пылливо и жарко, словно заранее обещали: «Продолжение следует». Черные волосы оттеняли продолговатое лицо, над чертами которого равно поработали Восток и Запад. Нос у нее был орлиный, очень заметный. Тон ее характеру задавал темперамент. Он был кавказским изначально. Ее темперамент легко раскалялся до цвета солнца – если она им не управляла. Когда

же она приказывала ему быть смиренным, он вел себя смиреннее ягненка; тогда казалось, что она вовсе лишена темперамента.

Она окончила географический факультет Ташкентского университета. После третьего курса у меня была гидрометрическая практика в Дальварзинской степи совместно со студентами университета, и когда я назвал ей имена тех, кто был с нами, она воскликнула: «Так это мои лучшие подруги!» Одну из них я назвал надменной. Этот мой вывод она немедленно опротестовала: девица готовилась к замужеству, и ей было не до нас. Второй, гимнастки Бэллы (по утрам она делала зарядку, и нам очень нравились вольные упражнения в ее исполнении), уже не было в живых: самосвал, ведомый пьяным водителем, влетел на автобусную остановку и разможил ей голову. В то лето университетские девчата очень задавались перед нашими ребятами. Наташа же не считала их задаваками и говорила, что у меня о них превратное представление.

Почему меня потянуло к Наташе сразу и безудержно? Повода она не давала, разве что улыбалась лучезарно. Но ведь не я был причиной сиятельной ее улыбки. Сначала я прикипел к ней, потом и она ко мне. О чем мы говорили, в какие тайны посвящали друг друга? Воспроизвести это нельзя, это не удержалось в памяти. Свои тайны мы предпочитали держать при себе. И не ухаживал я за ней, не стремился расположить к себе, нельзя мне, женатому, было позволить себе это. Но я как-то выделял ее среди прочих, как-то давал понять, что она дорога мне. О себе она рассказала мало, коснулась только того, что лежало на самой поверхности. Я не знал, как она росла, училась в школе, в университете, чем увлекалась, в кого влюбилась в первый раз, чем завершались ее последующие влюбленности.

Что ей давно пора замуж, знали все, и она в первую очередь. И она откровенно говорила, что еще не выбрала, на ком остановиться (подразумевалось, однако, что она сделает это в ближайшее время). Продешевить она не боялась и за блестящими женихами не гналась. Да и как было определить, какой из них самый лучший? Это жизнь определяет, а не день знакомства. Жизнь же на этот случай каких-либо четких правил не установила. Конечно, я рассказывал ей больше, чем она мне. Увлекался и начинал парить в синих высях. Наверное, это и были первые знаки внимания – прилив энергии при появлении Наташи, устремленные на нее глаза, вопросы, откровения. Очень долго я не признавался себе, что влюблен. Но в один из дней это стало очевидно.

Этим открытием я ни с кем не поделился, разве что с чистым листком бумаги. Я посвятил Наташе несколько стихотворений, полных пронзительной грусти, не удержался и передал ей. Среди них было стихотворение – предостережение: «Ната, Ната, не люби женатого!» Она их прочитала, и у нее округлились глаза. Наверное, люди, которым она становилась дорога, стихов ей не посвящали.

Весной и летом я приезжал на работу на час раньше, чтобы воспользоваться закутком у забора, в котором писал и печатал на машинке. Я привозил розы, ставил их на стол Наташи и удалялся в свой закуток. И какое-то время для всех оставалось тайной, кто же приносит Наташе розы. Меня выследила (но не вывела на чистую воду) Галочка Савич. В один из дней, подстрекаемая неумным любопытством, она приехала очень рано, спряталась в соседнем кабинете – и увидела меня на велосипеде и с цветами. «Дурак ты! - сказала она мне много позже. – Зачем ты это делал? Ни ей, ни тебе это было не надо!» Я не ответил, ведь некоторые свои поступки мы не объясняем ни себе, ни близким. Мы совершаем их в состоянии наития, и в объяснении они не нуждаются. То есть, я сравнительно быстро дал понять Наташе, что она дорога мне. И на этом остановился, как вкопанный. Да, она была дорога мне, но я не мог ввести ее в свою жизнь. Сам с собой я даже никогда не обсуждал этого вопроса. Нельзя, и все – что же здесь обсуждать?

Да, я был женатым человеком и не имел права на увлечение, переходящее в роман. Пример матери и пример отца, пример бабушки Марии Мартыновны, вырастившей девятерых детей, семья для которых была одним из смыслов жизни, наставляли и меня на путь истинный. Я не обсуждал, наедине с собой, хорошо ли мне с Диней (я прекрасно знал, что мне с ней плохо). Я взял ее в жены сам, я дал ей слово, и обратного хода этот поступок не имел. Не должен был иметь. Я даже мысленно, в воображении, не прослеживал, что могло у меня быть с Наташей. Это было за пределами возможного. И когда была достигнута духовная близость, ею я и ограничился. Увидев, что дальнейшего развития событий не последует, Наташа быстро перечеркнула надежды, связанные со мной, вышла замуж за комодообразного еврея Михаила (он был инженер-авиастроитель), родила девочку – и уволилась из лаборатории. Наши пути разошлись навсегда.

О Наташином замужестве я узнал в марте 1964 года. Мы проводили опыты, на модель пришли проектировщики, все было торжественно и чинно, и вдруг дверь тепляка отворилась, вбежала Лидочка и, не видя гостей, громко объявила Дубинчику и мне: «Знаете потрясную новость? Наташа вышла замуж и принимает поздравления!»

Но в году 1962, и в году 1963 до этого было еще далеко. Я смотрел на Нателлу Шотовну страстными глазами, я жил ею. Несколько раз после работы я проводил ее до трамвайной остановки. Раза два мы посетили новое кафе «Дружба» на сквере Октябрьской революции – и премило провели время, опять же, без малейших последствий для дальнейшего. Зимой она простудилась, схватила ангину, и я набрался смелости и навестил ее в воскресенье. А что? Это не казалось мне предосудительным. Она жила с матерью в одной комнате в самом центре города за Дворцом пионеров. Комната была не большая и не маленькая, но тесная от обилия старой мебели, громоздкой и несуразной. Наташа лежала, притянув одеяло к подбородку. Я что-то мямлил, ее мать

отмалчивалась и старалась понять, что я значу для ее дочери. Я пробыл у нее не более получаса. На второй визит, в более благоприятной обстановке, я не отважился, но пару раз подежурил у ее ворот, в надежде поймать ее на выходе. Да что поймать? В надежде посмотреть на нее издали, когда она пойдет по своим делам. Продолжения я боялся; оно могло изменить всю мою жизнь.

Последней попыткой Наташи определиться в отношении меня была ее и моя командировка в Нурек осенью 1963 года. Строилась русловая модель реки Вахш для исследования перекрытия, и были нужны надежные топографические данные. Сам я на эту командировку не напрашивался, значит, инициатива была за Наташей. Возможно, нужное слово Старику замолвил всезнающий Бурцев. Несколько дней мы провели вместе, и она убедилась, что все остается, как есть, продвижения вперед не будет. Вечером я зашел к ней в гостиничный номер. Казалось, мне ничего не стоило протянуть руки – и сомкнуть их на тонкой ее талии. Казалось, кровать ждала нас. Но она ждала нас в ее воображении, не в моем, и я не позволил себе этого очень естественного последнего движения к ней. Правильно ли я поступил? Полагаю, что да. Я не сделал этого шага по той простой причине, что не мог его сделать, и никогда потом об этом не сожалел. Не создал ни себе, ни ей многих трудно разрешимых проблем. Она все поняла и вскоре сказала «да» другому человеку, комодоподобному Михаилу.

Я посвятил Наташе повести «Эгоистка» и «Серые», а также несколько рассказов. Но как только наши пути разошлись навсегда, быстро перегорел и успокоился. Не переживал и уже не буду переживать, что мои отношения с Наташей сложились так, как они сложились. Обошлись без горячих поцелуев и физической близости. Да, она мне очень нравилась, но это было и прошло, былшем поросло. Однако в роман «Мания величия» я вставлю эпизод: в красивом сне мой главный герой Василий-краснодеревщик возьмет с собой на необитаемый остров троих женщин, которых любил когда-то, и одной из них будет Наташа. Она будет самой привязанной к нему женщиной, самой преданной. И он оценит это. Я опишу Наташу с такими подробностями, что ее сокурсница Галина Дмитриевна Власова, которой моя супруга даст прочесть роман, воскликнет: «Да ведь это вылитая Натка Концистор!» И добавит: «Бедная Натка! Тут она, как живая». Эпизод этот произойдет в редакции детской газеты «Класс», в которой работала Власова, в присутствии моей супруги, и она спросит: «Почему же Натка бедная?»

- Потому, - скажет Галина Дмитриевна, - что она уехала в Израиль и там умерла.

Вот все, что я узнаю нового о Нателле Шотовне после сорока лет нашей разлуки. Ибо в эти сорок лет я был удивительно нелюбознателен. Ушла она из моей жизни по дорожке, которую сама избрала – и счастливого пути! Путь, возможно, до поры до времени и был счастливым, но давно оборвался.

Знала ли Дина о Наташе? Догадывалась. Предполагала. Проявляла выдержку и стойкость, в промежутки между которыми орошала подушку слезами горькими и горячими. Попрекала меня холодностью и отрешенностью от домашних забот, но не другой женщиной. Ибо хотеть запретного плода и смотреть на него не возбраняется. И в самой лаборатории относительно Наташи и меня было проявлено столько такта, сколько диктовалось стечением обстоятельств, и даже больше. К нам было проявлено великое уважение. И я еще раз убедился, что рядом со мной работали люди тактичные и деликатные. Увидев рядом с собой ее величество любовь, они сначала оторопели, но затем ни косым взглядом, ни острым словом не дали нам понять, что не одобряют, осуждают. Они одобряли, но молча. А когда красивый цветок тихо увял, они сделали вид, что не заметили этого. Не сосредоточили на этом своего внимания.

Наташу я вспоминал не часто и без грусти, как праздник, который был и прошел, а повториться, в отличие от календарных праздников, ему не суждено. Я догадывался, что при расставании ей пришлось тяжелее, чем мне. Но замужество и рождение дочери быстро зарубцевало былое. Правда, один раз я задал себе вопрос: «Что было бы, если бы этого не произошло и былое не зарубцевалось?»

Ответить на него я не смог.

1У. МОЙ ЗАКУТОК

Мой закуток был вторым, после Наташи, центром притяжения в лаборатории. Я уединялся в нем и свободно, а, главное, спокойно писал и печатал на машинке. Я завладел им явочным порядком, вскоре после того, как освоился на новом месте работы. Сейчас бы сказали, что я его приватизировал. Он находился за Ангренинским обводным туннелем, далеко от стороннего глаза. От спуска, ведущего к насосной станции, и от неудобий близ канала Бурджар Ангренинскую модель отделяли два кирпичных забора. Там, где они сходились под прямым углом, и стоял мой закуток; две его стены, по сути дела, и состояли из кирпичного забора. Далее вдоль забора находился навес Якова Филипповича Шварца, а еще дальше стоял домик, в котором располагалась лаборатория строительных материалов и конструкций. Укромный мой закуток был обычной кладовочкой площадью пять квадратных метров, высотой два метра. Маленькое окошко, хлипенькая дверь, три серые стены, серый потолок, бетонный пол. Печка железная стояла в нем, отапливаемая дровами, и в зимние морозы посидеть у живого огонька было очень даже приятно.

Почему в закутке мне работалось лучше, чем дома? Скорее всего, потому, что писательский труд не терпит присутствия за спиной кого-то третьего, даже если этот третий – близкий человек, отец или мать, жена, дочь, сын. В трехкомнатной квартире на улице Богданова нам было куда просторнее и комфортнее, чем в двух

комнатах на улице Буденного. А после того, как мы застеклили в нем две лоджии, у меня даже появилась своя комнатка. И я мог пользоваться пишущей машинкой отца. Но я предпочитал закуток. В закутке все было по-другому, и я легко сосредотачивался. А далее время словно замирало. Я раздобыл и принес в закуток пишущую машинку фирмы «Ундервуд». Она была в преклонном возрасте и с разбитым шрифтом – ну и что? Она печатала, выполняла свое назначение. Бумаги и копирки мне хватало. А вот ленты обычно кончались быстро, и однажды я сказал Старик, что у меня нет ленты, в то время как Марго, исполнявшая обязанности секретарши, дала мне ее, и он накричал на Марго. Возникла ситуация, очень для меня неприятная, я чуть сквозь землю не провалился. И у меня, и у Марго отпали подбородки, когда Старик свел нас вместе.

Перед моим увольнением из лаборатории машинку украли. Не знаю, кто на нее польстился; продать эту старую рухлядь было трудно. Скорее всего, ее умыкнула Тонька Михайлова; строгость нравов она не исповедовала. Могла ее позаимствовать и соседняя лаборатория. И охранник мог выменять на нее бутылку водки. Мне было неприятно, что Старик мог подумать на меня. Но если он так и подумал, меня об этой своей версии не уведомил. Прошло какое-то время, и я разжился еще одной машинкой. Это был настоящий ветеран, детище первой советской пятилетки. В чьи руки перешла машинка после моего ухода из лаборатории, не знаю. Вполне возможно, Дубинчик поставил ее в своем кабинете.

Зимой я часто приезжал в закуток утром, затемно. Зажигал два самодельных светильника из парафина (электричество в мою каморку проведено не было), и мне вполне хватало их желтого света, чем-то напоминающего лунный. Светильники я ставил рядом с машинкой, справа и слева, и свет равномерно падал на лист бумаги, вставленный в каретку. Вскоре закуток был наречен «Уголком Петровича». Это название, с легкой руки Жоры Колпакова, за ним закрепилось. Если мне хотели угодить, закуток называли «Терем-теремком Петровича».

Что-что, а писалось в нем славно, на едином дыхании. В жаркий июль температура в нем не на много отличалась от наружной. Но никакая жара не была в состоянии отлучить меня от письменного стола и пишущей машинки. Огромное преимущество моего закутка заключалось в том, что в нем я мог уединиться в любую свободную минуту. Модель остановлена, Дмитрий Терентьевич Буркин готовит новый вариант гасителей – и я затворяюсь в своей каморке на час, на два, а то и до конца рабочего дня. Я просто не напоминаю о себе; если я понадобится, меня разыщут. Мне нравилось прихватить час до работы и час после работы. Я писал самозабвенно, не сознавая, что только учусь писать, что сотворенное в этом закутке едва ли будет впоследствии опубликовано и согреет душу кому-либо, кроме меня.

В Голодной степи, в вагончике я написал первые свои рассказы – «Доктор, доктор!» (про врачебную ошибку, стоившую пациенту жизни, а врачу – мучительных раздумий, открыться или промолчать), «Метр за метром» (про самонадеянного любителя горных походов, оказавшегося почти в безвыходной ситуации), «Кенаф тянется к солнцу» (про человека, познавшего всю прелесть сталинских лагерей, но пожалевшего и после этого остаться человеком), «Зеленоглазая». Последний рассказ, о жизни студентов на сборе хлопка, удался мне лучше других, и после того, как он был опубликован (через треть века после написания), на него ссылались. Значит, в нем было нечто такое, что западало в душу. Писал я в степи от случая к случаю, таясь и стесняясь; мне не хотелось, чтобы об этом знали. Здесь я писал, прежде всего, по наитию, с удовольствием и размахом. Для меня мои рассказы и повести были и важнее, и интереснее, чем модели.

«Сейчас или никогда!» – говорил я себе, впрягался и тянул. Дине это очень не нравилось, ведь время, отдаваемое мною писательскому труду, я отнимал от семьи, от дома. Ее горячие демарши, со слезами, со словами: «Боже мой, какая я несчастная!» – я оставлял без ответа. Я перешагивал через них и шел своим путем. Поступить своим правом писать было выше моих сил. Но душевного спокойствия Динины демарши не прибавляли.

В закутке мне докучали разве что в обеденный перерыв. Ребятам хотелось общения, ведь с водой на моделях не поговоришь, и они его получали. К шершавым серым стенам я прикнутил или прибил «портреты вождей» – фотографии девиц в интересных позах из журнала «Огонек», из других изданий, репродукции картин художников, которых любил – Архипа Ивановича Куинджи, Винсента ван Гога, Франсиско Гойи, Николая Рериха. Эти иллюстрации я называл портретами вождей. Они несколько оживляли серый фон плохо оштукатуренных стен и делали закуток похожим на матросский кубрик. Но взгляд на репродукциях мои гости долго не задерживали. Наташа, как я помню, не навестила меня в терем-теремке ни разу.

Писал я в основном новые большие вещи. О работе в Голодной степи – подробно, почти документально, без сюжета, вылепленного заранее. Об учебе в институте. О летней гидрометрической практике (я перенес ее с берегов Сырдарьи на берега Чаткала). Женщина молодая в нашем доме ушла из жизни по своей воле, не выдержала испытания одиночеством – я сделал ее героиней повести «Стена», наделил ее качествами правдоискателя и нравственной чистюли. Получилась сильная вещь, потом она вышла и отдельной книгой, и в сборнике «Периферия».

Школьные безмятежные годы я вспомнил, с футболом на узких наших улочках, с походами на Тал-арык, с первыми влюбленностями, с друзьями Валентином Хадиковым и Геннадием Козловым (в те годы мы были неразлучны). И получилась повесть «Тал-арык остается в детстве», которая тоже вышла отдельной книгой в

начале семидесятых годов (кстати, это была первая моя книга). Я представил себе, какими могут быть люди, когда их психика погружена в вечные сумерки человеконенавистничества – и написал повесть «Садисты», где фактического материала не было ни на йоту, а только вымысел. Бурджар фигурировал в этой повести под названием «Джин», с карстовыми пещерами, к нему спускающимися (в них и разворачивалось основное действие). После «Садистов» я к таким сюжетам уже не обращался. Первые мои повести лежали очень долго, пока я, уже в зрелом возрасте, не переписал их заново. Они стали называться «Кто мы?», «Серые», «Чаткал – тяжелая река», «Эгоистка», «Первая работа», «Садисты». После того, как они были переписаны, их стало можно читать, не спотыкаясь об огрехи, длинноты и прочие несуразности, относящиеся ко времени первой пробы пера. Наивность милая из давно прошедшей жизни была не только сохранена в них, но и выпячена, окрашена в розовые тона. Мне она нравилась.

Наверное, в закутке пришел ко мне замысел вещи совершенно необычной, которую я назвал «Мания величия». Гениальный химик втайне от всех создает препарат, который позволяет человеку управлять своими снами. А главный герой романа, молодой, но хваткий краснодеревщик, сосед химика и его друг и почитатель, этот препарат на себе испытывает. И сны позволяют ему стать кем угодно. Картины одна увлекательнее другой разворачиваются стремительно, как в фантастической сказке. Сначала краснодеревщик думает исключительно о себе, затем мысль его обращается к человечеству, и он стремится облагодетельствовать его через объединение. К препарату протягивает руку наркомафия, сюжет приобретает детективную стезю. Но воплотил я замысел только через 37 лет, когда приобрел опыт, для этого необходимый. Осталось мне совсем ничего – найти для романа издателя. Издавать его за свои деньги мне почему-то не хотелось. Я предложил роман издательствам Москвы и Питера и потерпел полное фиаско: они наморщили свои хищные носики и дружно отвернулись. «Вас у нас не знают, вас рекламировать надо, это страшно дорого!»

Повести и рассказы, в которых фигурировала Наташа, я давал читать ей, и она обращала мое внимание на длинноты и другие огрехи. «Сейчас в моде телеграфный стиль, деталь и намек», - говорила она. Но про себя, как главное действующее лицо, она читала с удовольствием. А повесть «Стена» первая прочитала Галина Савич. Критики в свой адрес я не услышал, но Галочка сделала вывод, что я не люблю людей. Наташе, кажется, ложились на душу все, что я писал про нее (и даже «Эгоистка»), но отзывы ее носили общий характер и деталей не касались. Ефим Ильич относился к моему закутку с пониманием. Я наглед, прихватывал рабочие часы – он и тогда не выговаривал мне, но лицо его багровело и скулы набухали. Ибо рабочее время следовало посвящать только работе.

Когда я втянулся и сблизился с людьми, меня окружавшими, у нас образовалась мужская компания, не большая и не маленькая, а ровно по размерам моего закутка, моей крошечной избушки на курьих ножках. Закуток этот я как бы приватизировал, занял насовсем. Столик о четырех ножках, пара табуреток и скамейка были тем, что можно отнести с большой натяжкой к мебели. В этом случае пишущая машинка тянула на роль оборудования. Чем я занимался в своем закутке, все, конечно, знали. И молча соглашались, без подтрунивания соглашались: да, этим можно заниматься, если в голову не идет ничего другого. Ведь, если у кого-то есть сдвиг по фазе, то это обыкновенно надолго, и лучше над этим не подтрунивать.

Примерно раз в неделю мужская компания собиралась у меня в обеденный перерыв. Предварительно Колпаков или Тимошенко бросали клич: «По доллару!», и долговязый лаборант Боря шел в магазин за нехитрым боеприпасом и скромной закуской. Обыкновенно на мужскую компанию в пять человек бралась бутылка водки, буханка хлеба, полкило дешевой колбасы – и все, и все. Если кто-нибудь добавлял к этому минимуму что-то свое, принесенное из дома, на него смотрели, как на благодетеля. Мужскую компанию иногда разбавляла своею особою Тонька, иногда – Галочка Савич. Два раза была приглашена Людмила Никитина – когда на нее пытался положить глаз Анатолий Федоров. Колпаков и Тимошенко не изменили компании ни разу. Всегда поддерживал ее Рустам Раззаков.

Несколько раз к нам на огонек, или на дымок из печной трубы, изволил пожаловать Яков Филиппович, но он предварительно откликнулся на призыв «По доллару!» Мы садились, тесно прижавшись друг к другу (иначе все не размещались). Если дело происходило зимой, я старался, чтобы в закутке было тепло – лаборатория в древесных отходах недостатка не испытывала. Тамада дважды наливал в стаканы или пиалы по 50 граммов. Мы выпивали, по поводу или без повода, затем налегали на закуску, и вскоре все, что было выставлено на столе, сметалось могучим мужским аппетитом. И начиналось то, что сегодня зовется общением – разговор за жизнь, то есть о чем угодно. В работу, в так называемые производственные отношения на наших посиделках мы никогда не углублялись; своих коллег, которые не сидели с нами за одним столом, тоже не обсуждали. Зато мировые проблемы присутствовали в полном объеме, особенно в грозные дни Карибского кризиса. Ядерной войны не желал никто из нас, даже если бы она принесла нам победу.

К счастью, лидерам Америки и СССР хватило ума, чтобы договориться. Федоров знал об этих вещах больше, кто-то из его дружков побывал на Кубе, обслуживал наши истребители, и мы слушали его, не перебивая. Советская экспансия на континентах, далеких от СССР, по молодости нам импонировала; ее подогрела победа в недавней страшной войне, очень нашу страну возвысившая. Нам страстно хотелось превосходства над

капиталистическим Западом, и особенно над Соединенными Штатами Америки, которые глобально, на всех континентах и океанах, противостояли СССР.

Уже потом, через треть века, я просчитаю, что это противостояние подстегнет невиданную гонку вооружений и решит судьбу Советского Союза, и он тихо сойдет с арены истории в небытие.

Второй всплеск политических эмоций последовал за непредвиденной и молниеносной отставкой Никиты Сергеевича Хрущева. Хруща было жалко. Он развенчал Сталина, вождя и душегуба в одном лице. Отец народов и душегуб – как это совместить? Иосиф Виссарионович совместил это в уникальной своей особе. Он же оставил после себя несколько страшных мин замедленного действия. Одна коллективизация сельского хозяйства принесла стране столько бед, что позже, когда Хрущев и Брежнев захотели интенсифицировать производство зерна, мяса и молока, это не удалось им ни за какие деньги. А жесткая плановая экономика, пятнающая позором каждый несанкционированный шаг вправо-влево, каждую инициативу, на которую можно повесить ярлык «частная инициатива»? А жесткий партийный и кэжэбэшный догляд за всеми и вся, за каждым человеком индивидуально? Когда народу это надоело, все это ушло в небытие.

Хрущев изначально был способен сделать для страны больше, чем Брежнев и его команда. Но его окружение боялось нововведений – и застраховало себя от них, призвав в отцы-защитники мало кому известного Леонида Ильича Брежнева. Система, возведенная Сталиным, была подвергнута косметическому ремонту. Больше не арестовывали и не расстреливали, больше у Советского Союза не было врагов народа. Но народ сначала перестал отождествлять себя с системой (для этого надо было сажать и расстреливать), а потом отказался от нее, как от недееспособной. Единственное, что нам не нравилось из сделанного Хрущевым – это раздрай с Китаем, фактический развал нашего союза. Нам было жалко терять такого могучего союзника. Но Северному Вьетнаму в войне с Америкой было достаточно одной нашей помощи, чаша весов постепенно склонялась в сторону Хо Ши Мина, и нам это нравилось. Вьетнамская война была единственной в истории Америки, не доведенной ею до победного конца.

Обеденный перерыв, увы, кончился быстро, и если мы не успевали выговориться, мы прихватывали еще полчаса. Потом чувство долга брало верх, и мы шли на свои рабочие места. Последний фестиваль у нас был в день моего ухода из лаборатории. Не знаю, кого приняли на мое место, а надо было бы узнать. После ухода я навесил лабораторию только один раз; на меня взирали с почтением, и это было очень непривычно. Я бы с удовольствием сходил туда сейчас, но я знал, что нет уже лаборатории, прикрыта она за ненадобностью. Ибо большие гидростанции на наших больших реках давно уже не строятся. А что вместо нее? Что-нибудь частное, несерьезное?

«Надо будет сходить, посмотреть», - сказал я себе. Дал себе такое задание.

У. ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Первый мой контакт с журналом «Звезда Востока» в начале 1962 года завершился банальным отказом. Так же плачевно кончились контакты с московскими молодежными журналами. Только «Смена», ничего моего не опубликовавшая, давала мне подробные отзывы, из которых я почерпнул что-то полезное. Осознав свою зеленость, я обратился в литературную консультацию Союза писателей Узбекистана – и стал встречаться с консультантом, которым был поэт Андрей Митрофанович Иванов. Он согласился прочитать мои рассказы. Но глубоко в них не вникал, заикливался на мелочах, настаивал, чтобы в них обязательно присутствовала социалистическая идея, так что по его замечаниям вносить серьезные коррективы я не мог и не хотел.

«Надо учиться», - решил я и в мае 1962 года подал заявление на заочное отделение факультета журналистики нашего университета. Набрался смелости, одним словом. Кто-то сказал мне, что нужна рекомендация какого-нибудь печатного органа, тогда я смогу поступить без вступительных экзаменов. Я пожелал, чтобы такую рекомендацию мне дала «Звезда Востока». Но и этой простой вещи журнал для меня не сделал. Выяснилось, однако, что экзамены надо было сдавать и с рекомендацией на руках, то есть нужды в ней не было никакой. А хождение за этой пустой бумажкой отняло у меня много времени и сильно попортило нервы. Я тогда очень обиделся на «Звезду Востока».

Первый экзамен я сдал, незаметно отлучившись. Готовиться было некогда, но я все же нашел время перелистать школьные учебники по литературе, истории СССР и английскому языку. Первым абитуриенты писали сочинение. Тему я не запомнил, но запомнил эпиграф из Гете, мною употребленный: «В пору ум готовь же свой. На весах великих счастья чашам редко дан покой. Будешь ты иль подыматься, или долу опускаться. Властуй или покоряйся, с торжеством иль с горем знайся, тяжким молотом вздымайся – или наковальной стой». Под этим эпиграфом с глубоким философским смыслом настроил я много страничек. Эпиграф понравился, и сочинение понравилось, я получил пятерку. Пятерке не удивился, литературу у нас преподавала Ирина Александровна Гукова, женщина искрометная и учитель с большой буквы, она тоже ставила мне высшие оценки. Какие громкие диспуты проводила она, приглашая на них девочек из соседней женской школы! Как умела зажечь заскорузлое мальчишеское самолюбие!

Пятеркой был удостоен еще один абитуриент, и все. Не густо на пятьдесят поступающих. По устной литературе и русскому языку я тоже получил «отлично», уже по инерции – отвечал без блеска. Думаю, что свое слово сказала пятерка за сочинение. Она была, как зеленый свет светофора. Экзамен принимала Инна Иосифовна Шофман, с которой потом я много лет проработал в редакции газеты «Правда Востока». Отвечая ей, я дважды неправильно произнес фамилию «Грибоедов». Я произвольно заменил букву «д» на букву «б». Страшно сконфузился, тут же захотел поправить себя – и снова допустил ту же ошибку. Шофман сделала вид, что ничего не заметила. Позже, когда нас не раз сводили вместе канал Анхор и редакционные застолья, этой щекотливой темы она не касалась, щадя мое самолюбие. Замуж она так и не вышла, не нашла, на ком остановить свой выбор. Гриша Колобов иногда проявлял к ней внимание, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Недавно мне сказали, что она уехала в Израиль. Вот кому я бы позвонил с большим удовольствием.

Историю СССР и английский я спокойно сдал на «хорошо» - и стал студентом-заочником. На зимнюю сессию полагалось взять учебный отпуск, и моя тайна открылась. Отпуск мне дали, не сопровождая подпись на заявлении нотациями и нравоучениями. Учили нас совсем не так, как очников. Нам раздали методические указания и список литературы – вгрызайтесь, соколы! Делайте свои контрольные работы и упражнения! Разбирайте композицию романа Александра Грина «Бегущая по волнам» или какого-нибудь другого шедевра русской литературы!

Учебный отпуск включал в себя две недели занятий и две недели экзаменов. На занятиях, на лекциях по курсу «Введение в литературоведение», «Введение в языкознание» я познакомился с себе подобными. Это были разбитные ребята и девочки не первой свежести, готовые пойти и взять интервью у кого угодно. Я и известная телеведущая Галина Мельникова были среди этой настырной публики самыми скромными. Я и должен был вести себя тихо-смирно. Но почему так же вела себя и Мельникова, которую знала вся республика? Значит, так ее воспитали мама с папой. Поднялся ли позже кто-либо из моих однокурсников на заметную высоту? Скорее всего, нет, рядом с собой я никого из них потом не видел. Некоторые из них позже, после окончания университета, стеснялись говорить, что они журналисты. Ибо они не стали ими, несмотря на большие надежды и шесть лет усердной учебы. Что ж, умение писать дается свыше, оно или есть, или его нет, а научить писать хорошо почти невозможно, даже если у учителя будет семь пядей во лбу.

Учили нас плохо, поверхностно и совсем не тому, чему надо. Нас нагружали теорией и общими знаниями по истории русской и зарубежной литературы, российской и советской журналистики. Но сколько-нибудь полезных практических навыков мы не получали. Нас не учили писать для газеты, делать материалы для радио и телевидения. Нам рассказывали, в общем плане, как это делается, но не учили этому скрупулезно, на наших материалах и наших ошибках. Способные журналисты не шли преподавать в университет, преподавали те, кто не задержался ни в газете, ни на телевидении. Кто мало чего умел. Исключение составляла Инна Иосифовна Шофман, но она вскоре оставила университет, полностью в нем разочаровавшись. И от учебы на факультете журналистики, тем более заочной, я почерпнул очень мало. Я сдал одну сессию, и вторую, и третью, и четвертую. Ничего не менялось, к практической журналистике мы не приблизились ни на шаг. И от университета я не получил ни малейшей помощи в решении главной своей задачи – как писать лучше. Я продолжал путаться в тенетах многословия.

Мы писали контрольные работы на отвлеченные темы и заново перечитывали Пушкина, Толстого и Достоевского, Бальзака и Флобера. Но мы не знали, как работают редакции, мы не ходили в них. А те, кто что-то умел, работая в многотиражках и районных газетах, не росли и не набирались ума-разума, а только сдавали очередные сессии. Прошел пятый семестр, и шестой. Я проучился половину отведенного срока. И, наконец, дело стало сдвигаться в сторону практики. Начались занятия по теории журналистики, и с нас стали требовать, чтобы мы публиковали что-нибудь свое. Какие-нибудь заметочки хотя бы.

И тут мне начало везти. Можно даже воскликнуть: «Наконец-то!» Литературный консультант Андрей Митрофанович Иванов долго возился со мной совсем безрезультатно, затем емуглянулись некоторые мои рассказы, и среди них «Доктор, доктор!» и «Кенаф тянется к солнцу». Он предложил мне отнести их в «Звезду Востока», что я и сделал без малейшего промедления. Литературный сотрудник отдела прозы Нина Пушкарская прочитала их, тоже одобрила и передала по инстанции – заведующему отделом прозы Дмитрию Степановичу Волгину. Тот телился долго, вальяжно объяснял мне, что к чему и в чем мои слабости, но рассказ про доктора отобрал для публикации. Только сказал, что доктор должен иметь совесть и признаться в содеянном. Я переделал концовочку, прождал еще с год – и увидел свой рассказ опубликованным. В сентябрьском номере за 1965 год. Я получил за него 71 рубль гонорара – отличное подспорье к семейному бюджету. Только после этого Дина поверила, что на литературном поприще у меня может что-то получиться. До этого же она считала, что я маюсь дурью несусветной и впустую перевожу время, которое хорошо бы предназначить семье и дому.

Когда, четверть века спустя, ситуация поменялась и Волгин, уже замшелый старик, принес мне свою повесть, я не смог принять ее, такая она была слабая. Она была просто беспомощная. И мне было чрезвычайно неприятно, горько отказать ему, но что было делать? От правила отбирать для публикации только лучшее я никогда не отходил, и свидетельство тому – тираж «Звезды Востока», достигший в 1990 году 212 тысяч экземпляров. Получилось же так, что я не отплатил за добро добром.

Иванов перестал консультировать молодых, и я начал ходить в литературный кружок к Альфреду Рудольфовичу Бендеру, прозаику, который писал остросюжетные вещи – детективы и приключенческие романы, и был тесно связан с органами. Кружок он вел интересно и поучительно, у других так не получалось. Как консультант и работник с молодыми, он был на голову выше Иванова. Потом я плодотворно работал с ним в журнале «Звезда Востока». Одновременно Бендер был главным редактором молодежного издательства «Еш гвардия». Он включил в перспективный план издательства сборник моих рассказов, а когда подросла повесть «Тал-арык остается в детстве», заменил рассказы повестью, объявив, что она лучше, выигрышнее. Повесть, однако, вышла в свет только года через четыре, уже не при Бендере. Включив ее в перспективный план, он ничего не сделал, чтобы приблизить ее выход. Значит, он тоже все эти годы считал меня зеленым околотитературным юнцом. А, может быть, тут действовало что-то еще, во что посвящен я не был.

На конец 1965 года было намечено перекрытие реки Нарын в створе Токтогульской гидроэлектростанции. В Каранкуль, поселок гидростроителей, мы приехали в последние дни декабря. Перекрытие должно было состояться 30 декабря и органично слиться со встречей нового года. В этом случае мы могли бы вернуться к празднику домой. Но начальство в чем-то засомневалось и отложило перекрытие на неделю, на 5 января. Мои коллеги эту неделю провели в Ташкенте, а я – на створе, и вот почему.

Перед командировкой я набрался смелости и явился в редакцию газеты «Правда Востока» с предложением своих услуг по освещению события неординарного – перекрытия реки Нарын в братской Киргизии. В отделе информации меня принял Юрий Кружилин, репортер Божьей милостью и журналист, каких поискать. Кстати, мы были одногодки. Он очень старался, чтобы газета, в которой он работает, была конфеткой, привлекательной во всех отношениях. Узнав, кто я и что предлагаю, он воспламенился: «Старик, мы для тебя открыты, ты – наш, информируй нас обо всем, не стесняйся! Удачи тебе! Да, возьми ксиву, что ты наш внештатный корреспондент, она тебе пригодится. Она, понимаешь, откроет тебе любую дверь, расположит к тебе любого чиновника!» Он сунул в пишущую машинку редакционный бланк и сам напечатал, что требовалось, а потом побежал к редактору, и тот подписал бумагу. Кружилин был само радушие. Он обещал дружбу и сотрудничество на много лет вперед.

И какое-то время мы действительно работали вместе, а потом жизнь определила каждому из нас свои пути-дороги. И в дружбу наши отношения не переросли. Он был первый, кто сказал мне, что учеба в университете не даст мне абсолютно ничего, что это никчемный, напрасный перевод времени.

- Старик, ну зачем тебе эта пустая трата времени? – внушал он мне. – У нас, в газете, ты научишься всему, что тебе нужно знать. Один диплом у тебя уже есть, и этого, поверь мне, вполне достаточно!

Я подумаю-подумаю и последую его мудрому совету.

Судьба была к Кружилину немилостива. Он захотел, чтобы ему удалили гнилой зуб под общим наркозом, в порядке медицинского эксперимента (он патологически боялся кресла стоматолога). Его усыпили, зубик дряхлый потащили клещами, и он каким-то образом из клещей выскользнул и оказался в Юриных легких. Где зубик? Нет зубика. Врач подумал, что Юра его проглотил, а он попал не в то горло – в легкие. Началось воспаление, да гнойное. Еще один наркоз и еще одна операция, уже серьезная. Юра выздоровел, но к нему прилипла астма. Астма раздула его вширь до состояния колобка. Он работал и в таком состоянии, его статьи были очень заметны – он был мастером глубокого социального анализа. Но конец приближался, и быстро. Перед крушением Советского Союза Кружилина не стало.

Позволю, однако, себе вернуться на Токтогульский створ, в зиму 1965 – 1966 годов, не снежную, но промозглую. Шуга плыла по Нарыну (так она в мои школьные годы плыла по Салару), проран был узкий, метров пятнадцать. Могучая техника стояла наготове. Это было мое третье участие в перекрытии. Два первых, в Чардаре (река Сырдарья) и на Головной ГЭС (река Вахш), прошли без сучка и задоринки и подтвердили все рекомендации лаборатории. В Чардаре, правда, могли быть и сучок, и задоринка. Кто-то из умных руководителей для пущего эффекта догадался взорвать перемычку (разобрать ее экскаватором была пара пустяков), и камни величиной с поросенка полетели в сторону праздной толпы, пришедшей увидеть зрелище. Они летели и кувыркались в воздухе, черные на фоне синего неба. Они немного не долетели до толпы, бултыхнулись в воду – и окатили толпу брызгами. А попади они в толпу, и праздника бы не было. Похороны были бы.

Теперь же у меня было особое задание. Мне был поручен репортаж! Я не поехал на новый год домой – и ни минуты не переживал по этому поводу. Праздник я встретил с группой рабочего проектирования, почти сплошь состоявшей из молодежи, походил по поселку, серому, как все временное, съездил на створ, огляделся. Арочная плотина высотой 220 метров возводилась в глубоком каньоне с почти отвесными лиловыми бортами. Выходной портал туннеля был построен строго по нашим рекомендациям, и я увидел наш трамплин-растекатель в бетонной плоти. Сразу стало понятно, ради чего мы старались. Я расспрашивал строителей, что и как и где им приходилось напрягаться, и быстро обрастал фактами, которые могли войти в репортаж деталями заметными и привлекательными. Раза два я сбегал на почту и позвонил в редакцию, а один раз отбил телеграмму. И потом был поражен: короткие мои сообщения все были напечатаны на первой полосе. С моей фамилией в виде подписи, как полагается. Была отмечена и оперативность сообщений: передано по телефону.

В день перекрытия я побегал, потом коротко передал, что нужно. И поспешил на поезд – Дубинчик меня отпустил. Ведь я вез репортаж для республиканской газеты. Поезд был ночной, шестого утром я прибыл домой, прилип к пишущей машинке и часов в одиннадцать явился в редакцию с готовым материалом. Кружилин выхватил у меня пятистраничный репортаж, пробежался по нему глазами – и помчался в секретариат, ставить в номер. Оперативность была соблюдена. Юра отсутствовал полчаса, выбивая под репортаж нужную площадь. Выбил, из репортажа не убрали ни одного абзаца. Снимок предоставило телеграфное агенство. И вот я держу в руках свою первую большую газетную публикацию – начало на первой полосе, завершение – на второй. Событие, его накал, дух созидания, так свойственный стране в те годы – все это подано с душевным подъемом. И краски, присущие местному колориту, сохранены: сумрачность каньона, шорох шуги, сталкивающейся в проране, твердость скалы, через которую шли проходчики, пробивая туннель.

Доброе слово было сказано и о проектировщиках, о лаборатории, которая на своей модели прорепетировала перекрытие, получила те данные, которые затем натура подтвердила. Модель предсказала перепад два метра десять сантиметров, натура показала перепад два метра двадцать сантиметров. Расход материалов, употребленных для закрытия прорана, совпал с расчетным до одного процента.

– Старик, ты молодец! – говорил мне Кружилин, положив руку на плечо. – Не пропадай надолго! Ты теперь наш кадр, помни об этом! Приноси все, что считаешь нужным!

Я был счастлив. И был счастлив получить почтовый перевод рублей на сорок, подспорье семье и моему духу. В лаборатории вроде бы ничего не изменилось, но смотрели на меня уже по-другому. Все мы были участниками большого события, но я один написал о нем, а газета это опубликовала. И не какая-нибудь многотиражка, а сама «Правда Востока», ведущая свою родословную с 1917 года. Тираж у газеты не маленький – 200 тысяч экземпляров. Всем стало понятно назначение моего закутка и пишущей машинки. И стало понятно, почему я поступил на факультет журналистики. Я уже был не как все, я выделялся. Не благодаря рассказу «Доктор, доктор!» – его публикации в журнале, выходящем трехтысячным тиражом, никто не заметил, но благодаря репортажу «Нарын, покорись!»

Вскоре началась зимняя сессия в университете. И здесь перемена в отношении ко мне была разительная. Группа признала меня и зауважала. Из тихони, который всегда в стороне, я превратился в человека, который может и умеет. На поприще журналистики это удавалось немногим. Сессию я сдал быстро и хорошо, а оставшимся свободным временем воспользовался, чтобы взять интервью у главного инженера нашего отделения Сигизмунда Антоновича Боровца. Боровец обозначил фронт работ не на годы – на десятилетия вперед. Интервью я озаглавил «Что после Нурека?»

После Нурека была Рогунская ГЭС, тоже на Вахше, плотина которой превосходила Нурекскую по высоте. Разговор шел о каскаде гидростанций на реке Нарын, который по мощности не уступал Волжскому, и о таких же каскадах на реках Чаткал, Вахш, Пяндж. Даштиджумская ГЭС на Пяндже с плотиной высотой 400 метров была рекордсменкой по мощности – более четырех миллионов киловатт (как Братская ГЭС). Боровец все это расписал, как по нотам, выделил нужды энергетики, нужды орошаемого земледелия, взаимодействие этих нужд в интересах всех среднеазиатских республик. Он четко выкладывал факты, я их фиксировал. Интервью быстро опубликовали. Это был у меня первый обстоятельный, на равных разговор со специалистом столь высокого ранга. До этого я видел Сигизмунда Антоновича пару раз, когда он приходил к нам на модели. Удостаивал ли он меня простого кивка, я не помню.

Затем было перекрытие Вахша в Нуреке. Я уже знал, что к чему и где следует подсуесться, а где этого можно не делать, и мне было проще, чем в первый раз. Я уже не бегал от рейки к рейке, это за меня делали другие. Я был представителем престижной газеты, мне это нравилось. Руководство института смотрело на меня очень даже благосклонно. Репортаж со всеми подробностями события так же пошел в номер. Его не сократили, его даже не поправили. Значит, то, как я писал, устраивало «Правду Востока». Но других, не гидротехнических тем я пока не касался. И «Звезде Востока» не предложил ничего нового, а надо бы.

Между тем, наступил день, многое в моей судьбе определивший. 26 апреля 1966 года произошло землетрясение силой 8,5 балла и с эпицентром под моим родным городом. Земля вздрогнула, грозно зашевелилась, выбросила нас из теплых постелей, наши сердца затрепетали. Ташкент сразу привлек к себе внимание всей страны. Город, потерявший массу глинобитного жилья дореволюционной постройки, быстро превратился в огромную строительную площадку. Казалось, что по стрелам башенных кранов можно пройти из одного его конца в другой. Темпы возведения жилья предстояло удвоить за один год. Москва нашла и выделила на эти цели нужные средства; они были очень велики. Открывалась новая газета «Строитель Ташкента». Ее редактором был утвержден Михаил Иосифович Пругер, работник «Правды Востока»; в годы войны он командовал батальоном.

Он столкнулся со мной в коридоре редакции, Кружилин нас познакомил. Михаил Иосифович отвел меня к окошку и пригласил работать в новой газете. Я согласился. Пришло время проститься с лабораторией, и я подал заявление об увольнении. Директор Корнаков не стал его подписывать, но случайно в это время в его кабинете оказался Боровец и все переиграл. «Граник Иннокентьевич, - сказал директору Сигизмунд Антонович, - этот

человек идет на свое поприще, давай отпустим его и пожелаем всего доброго!» И подпись Корнакова легла на мое заявление.

Кружилин каким-то образом узнал о том, что я иду работать в «Строитель Ташкента», и потянул меня в «Правду Востока» со словами: «Ты что, старик, пошли к нам, у нас республиканский простор, у нас престиж, ты развернешься, а у Пругера, на одной строительной тематике, ты быстро закиснешь!» И побежал к главному редактору утрясать этот вопрос – им тогда был Валентин Акимович Архангельский. Забегая вперед, скажу, что лучше него этой газетой не руководил никто. Что Кружилин сказал Архангельскому, я не знаю, но Валентин Акимович дал «добро» на удивление быстро. Двери «Правды Востока» распахнулись передо мной, я стал ее сотрудником. Точнее, младшим литературным сотрудником с окладом 90 рублей. Но, помимо оклада, в газете существовал гонорар, вследствие чего мой заработок стал почти в два раза больше, чем в лаборатории. Пругер поморщился, что не заполучил меня в свою газету, сказал, что у него я бы зарабатывал много больше, попросил писать и для него. Я пообещал.

Но я опять забегая вперед. Далее последовал прощальный фестиваль в узком кругу. Я обошел модели, отворил дверь в каждый кабинет и попрощался со всеми. Заглянул в мастерские и сказал добрые слова Якову Филипповичу и Дмитрию Терентьевичу. Старик и Ефим Ильич одарили меня теплым напутствием. Дубинчик сказал: «Знай, в случае чего тут ты всегда свой!» Отдельно я поклонился своему закутку, своей каморке, в которой так хорошо писалось, своей пишущей машинке, старой-престарой. Я знал, что этого укромного закутка мне будет очень недоставать, и жизнь потом это подтвердит. Это был последний поклон тому, что уходило навсегда. Прощай, лаборатория!

И вот теперь, в году 2005, по прошествии стольких лет, я сижу в своем кабинете (он же и моя спальня), взираю на плотную крону дерева перед окном и думаю: почему именно в лаборатории мне было так хорошо? Годы ли выпали самые-самые? Или тут веское слово сказала лучезарная улыбка Наташи? Или пришло время дерзать и добиваться, и я дерзал и добивался в меру сил моих? Лаборатория стала моим трамплином, мои силы в ней только прибавлялись. Трамплин подготовил прыжок в другой мир, где главным было творчество. Для кого-то я стал в этом мире своим, для большинства навсегда остался чужим, чужеродным. И первое, и второе я принимал и принимаю, как должное.

И еще одно обстоятельство подогревало мою тягу к лаборатории. В эти годы я был счастливым человеком. Правда, росла отчужденность к Дине. Она росла и без Наташи рядом со мной, но с этим я ничего не мог поделать.

А в лабораторию я ходил, уже после того, как был написан этот рассказ, строго документальный. Перед отъездом в Америку ходил, куда дочь давно и настойчиво звала нас на постоянное место жительства. Прощаться. Но не с чем было прощаться, не было уже лаборатории. Уже много лет суверенная Республика Узбекистан не проектировала и не строила гидравлические станции, на это не было денег ни у нее, ни у нищих соседей – Киргизии и Таджикистана. То, о чем в свое время мне поведал Сигизмунд Антонович Боровец, в советские годы было осуществлено примерно на одну четверть – построены гидростанции Нурекская, Токтогульская, Чарвакская, подготовлена к пуску, но так и не пущена гидростанция Рогунская. Но после размежевания все остановилось, не у дел остался некогда огромный проектный институт. Пустошь я увидел, жалкие останки моделей. Руководил научно-исследовательским отделом мой однокурсник Фарид Хусанходжаев. Кажется, он представлял отдел в единственном числе. Сказать ему было нечего, великое запустение говорило само за себя. Я вспомнил, какая интересная здесь кипела жизнь. А потом спазмы сдавили мне сердце, я обнял Фариду, повернулся и пошел прочь. Выпить со мной моего вина Фарид не пожелал, он был за рулем.

Тезис о том, что все проходит, подтверждала и судьба гидравлической лаборатории.

2005 год

Отредактировано в 2010 году

В этом розоватом, под цвет заката, доме о четырех этажах, на проспекте Дружбы народов, близ станции метро Хамза, мы с Валерией жили уже 26 лет, и он нравился мне все больше и больше. Мы знали, что это последний наш дом, наша пристань в старости, а другого дома, помимо кладбищенского, конечно, который на веки вечные, у нас не будет, хотя иногда и посещали нас мысли о переезде к сыну в Москву или к дочери в благословенную Америку. Четыре комнаты были у нас, три маленькие и одна вполне приличная, на всю семью, в которой семье и гостям было не тесно за праздничным столом. Прошли те времена, когда нас здесь было много – пять человек, а один год, когда старшая дочь Надежда вышла замуж, и шесть человек.

Но Надя отъединилась первая, получив с моей помощью хорошую квартиру в центре города. Затем отчалила учиться в Москву Елена – и нашла свое счастье в благословенной Америке. Последним покинул отчий дом сын Петр, он был шестью годами младше Елены. Он тоже учился в Москве, потом стал там работать и осел, ему по нраву был российский климат, деловой и политический. И мы с Валерией одни остались в квартире, удивляясь, что дети встали на крыло так быстро. Только Надя еще жила в нашем городе, но с нами не общалась – в силу ряда причин, которых я здесь касаться не хочу. Валерия горько сетовала на такое ее поведение, но первая олимпийскую ветвь мира протягивать не хотела, считала, что ни в чем перед дочерью не провинилась. А с Леной и Петром у нас сложились отношения любви и приязни, и время их только цементировало, укрепляло. Елена звонила нам пару раз в неделю, а Петя общался с нами по электронной почте еще чаще. И навещали мы их много раз, но порознь, не вместе, чтобы не оставлять квартиру без присмотра.

Пять лет назад, на рубеже тысячелетий, Валерия отважилась на ремонт – и закатила его на европейском уровне, не пожалев больших денег, которые сама и заработала за годы предпринимательской деятельности. Предпринимательство вымотало ее и, главное, поселило в ее душе страх неумный, ибо приходилось нарушать и переступать, и еще приходилось кормить много пиявок, которые проявляли поразительную ненасытность. Последнее и переполнило чашу терпения, и она заявила: «Все, закрываюсь!»

Ремонт она сделала, какой хотела, материалы закупала самые лучшие, с мастеров строго взysкивала за каждое упущение, и теперь квартиру украшали буквый паркет, белоснежные алебастровые потолки, гладкие-гладкие, французские обои и двери и окна из натуральной сосны – на них каждый сучок был как пикантная веснушка на жизнерадостных щеках любимой девушки. Ремонт длился шесть долгих месяцев; мы выдержали этот великий раскирдаш и благодаря настойчивости Валерии получили вариант почти идеальный. «Я этого хочу, делайте так, как я хочу!» – говорила она мастерам, которые не привыкли стараться и выкладываться. Но ее волю они уважили. Она платила, и она имела право хотеть и надеяться. Мебель же у нас осталась старая, мы к ней привыкли и прощали ей некоторое несоответствие с современными стенами, полом и потолком. Только диван и два кресла, которые совсем обветшали, Валерия заменила.

Побывав у Елены и у Петра и вкусив все прелести жизни американской, просторной и сытной, и жизни московской, тоже сытной, но тесной и нервотрепной, Валерия заявила: «Нет, никуда из Ташкента я не уеду!» Я к этому мнению пришел много раньше супруги, но помалкивал, рассчитывая, что на нее повлияют обстоятельства, а не мое решение.

Было воскресенье. Валерия пошла в церковь (она выбрала евангелистскую ветвь христианства, как наиболее простую, без мишуры в виде необъятных иконостасов и ликов святых, только препятствующей общению с Создателем), а я сидел на диване в гостиной. Лето в разгаре, жара усиливалась, и я вытер пот со лба и с затылка и включил кондиционер. Столик легенький, легко перемещающийся, стоял передо мной; в тишине, под тиканье часов, я дописывал какой-то рассказ. Здесь, под отчим кровом, все было свое и родное, а в гостях у Лены и Пети я считал каждый день, оставшийся до отъезда. Притяжение родного дома было тем сильнее, чем дальше от него я находился. В этом городе прошла вся жизнь, моя и Валерии, и естественным концом жизненного пути было лечь в эту землю.

В какой-то момент я почувствовал, что устал писать, и расслабился, откинулся на упругую спинку дивана. Мерно гудел кондиционер, а часы пробили полдень. Когда они били, слышно было в любой комнате и на кухне тоже. Это были заслуженные часы, настенные, в футляре из красного дерева; их венчал деревянный орел, готовившийся взлететь, которого Леночке вручили в качестве приза на каком-то давнем шахматном турнире (уже пятнадцать лет к шахматной доске она не подходила). Часы отец привез после окончания войны, и они постоянно напоминали о великой победе, о поверженной Германии. Тогда на них был другой орел, матерый хищник со свастикой в когтях. Мы его удалили, и он пропал, затерялся. Я бы и сейчас не стал водружать его на часы, к свастике я питал стойкое неуважение. Себя я и помнил с войны, не раньше. В войну я и сестра Ольга были

вещами, которые следовало сохранить во что бы то ни стало, и матери это удалось. В награду же она получила отца, вернувшегося с фронта живым и невредимым.

После смерти родителей часы перешли ко мне, а следующим их хозяином будет Петя.

Когда мы жили на улице Буденного близ вокзала (это житие продолжалось десять школьных лет и четыре институтских года), часы вдруг упали со стены – прямо на бабушкину голову, которая сидела под ними на диване. Футляр разбился, повредив старухе лоб и нос; бабушка была удивлена необычайно. «Duner wetter!» – только и произнесла она, зажав ушибленное место ладонью; в переводе с немецкого это означало «дурная погода». На самом деле это было сильнейшее немецкое ругательство. Часы и футляр восстановили, и больше они не падали. Возможно, их изготовили в Швейцарии; нам нравилось так считать. Я аккуратно поднимался на стул и заводил их раз в неделю, а скорость хода регулировал с помощью маятника, удлиняя его или укорачивая. Летом часы шли быстрее, чем зимой. Отрегулированные, они не уходили от истинного времени более чем на одну-две минуты в неделю.

Между стеной и торцом дивана стояла бутылка вина, и я протянул руку и достал ее. Вино было прошлогоднее, из винограда сорта «тайфи» с добавлением муската. Я сам его и делал с тех далеких пор, когда стал хозяином дачного участка. Вина из винограда, вишенки и сливы мне хватало от урожая до урожая. Я старался, чтобы вино получалось сухое, чтобы выбраживался весь сахар; нам, старикам, лишнего сахара было не надо. Я поднял бутылку на уровень глаз. Вино было янтарное, чистое, с винным камнем на дне пластиковой бутылки. Его цвет мне понравился. Я отвинтил пробку и сделал глоток. Вино было в меру терпкое, и привкус муската был очень заметен, но не доминировал. Лучше у меня не получалось. Я и не старался, чтобы у меня получалось лучше, я не знал, как этого добиться. В секреты, как придавать вину французскую изысканность, я не вникал, мне это было не интересно. Я сделал еще три глотка и возвратил бутылку на прежнее место. Ее хватало мне на три – четыре дня, в зависимости от настроения. Валерия предпочитала водку, но потребляла ее скромно и не часто. Бутылки водки ей хватало более чем на месяц.

Как будто светлее стало в комнате, и как будто в воздухе прибавилось розовости. Вино обладало интересным свойством делать воздух слегка розовым. Все оставалось таким же, а воздух розовел, как от единения с романтикой. Я встал, взял из вазы яблоко и снова сел. Яблоко оказалось так себе. Я посмотрел на цветы, вышитые Леной. Они висели в рамке, как картина. Розы, букет алых роз в синей вазе. Это какое надо иметь терпение, чтобы вышитые крестиком цветы смотрелись, как живые? Теперь у Леночки были три своих розы, дочь, сын и дочь совсем маленькая – завтра ей исполнится год, а вчера она сделала первый осторожный шажок, и по этому поводу был звонок в половине двенадцатого вечера, и голос Лены дрожал от гордости, и прозвучал вопрос, когда мы приедем. Я подумал, останутся ли на этом Леночка и Андрей. Скорее всего, останутся. Не хотелось бы, но они останутся. Надо много работать, надо расплачиваться за большой дом и за то, чтобы дети получили хорошее образование. В благополучной Америке все стоило денег, и за все надо было платить. Правда, и за работу там платили очень даже прилично.

Справа от Лениных цветов висела репродукция Ван Гога, недавно привезенная Петей – кипарисы, которые вечерний ветер клонил долу. Кипарисы были осенние, выпуклые и осязаемые, и ветер был осязаемый, давящий, промозглый, какой-то предзимний, лишаящий последнего тепла. Я любил Ван Гога. Я давно выделил его. В моей спальне, за стеной, висели две другие репродукции великого голландца, «Подсолнухи» и «Звездная ночь». Первую из них я купил лет двадцать назад, а вторую мне подарила Лена, когда мы ходили с нею в музей «Метрополитен». Если букет подсолнухов говорил о смятении в человеческой душе, то звездная ночь говорила, нет, кричала о смятении в Мироздании, о сверхновых звездах, которые Ван Гог разглядел в ночном небе гораздо раньше астрономов, и без телескопа разглядел, невооруженным глазом. Невооруженным? А пытлиное воображение неистового Винсента разве не оружие всепроникающее? «Звездная ночь» – это и есть нестационарная Вселенная, которая задает столько загадок физикам и астрономам. Галактические звездные спирали. Тысячи, миллионы, миллиарды галактик, шабаш светил, а под ними, на пыльном проселке, пахнущем коровами, Ван Гог, их повелитель. А почему бы и нет?

Еще в моей спальне висела большая фотография, которую я очень любил – портрет Валерии. Снимок был сделан сорок лет назад, Валерия смотрела на мир счастливыми, широко раскрытыми девичьими глазами – и обещала, и выполняла обещанное, и мечтала о следующих ступеньках, подняться на которые так хотелось. Теперь же можно было сказать, что все это в прошлом. Но я поднялся быстренько, прошел в спальню, посмотрел на милое лицо – и не согласился, что все в прошлом. Какое-то пространство еще было перед нами, пусть неопределенное, пусть небольшое. Но его никто еще не перечеркнул.

Я смотрел на Валерию, и мне казалось, что я люблю ее сильнее, чем даже в тот год, который бросил нас в объятия друг друга. Который соединил нас навсегда. Но ей, когда она придет, я не скажу об этом. Хотя услышать это ей будет очень приятно. Я понимал, что слова любви женщине дороги и желанны в любом возрасте. С ними и тусклый мир старости розовеет, как воздух от глотка моего вина. Любовь и вино, - между ними так много общего! Любовь и есть вино, и чем больше любви лет, тем лучше.

Я кивнул портрету и вернулся на диван. Не задержал взгляда на других фотографиях, мне дорогих – отца и матери, сестры, детей и внуков, отца Валерии. Я не хотел смотреть на них мельком. Смотря на эти снимки, я

обычно возвращался в те годы, когда они были сделаны. А сделаны они могли быть и полвека назад, как снимок, на котором были запечатлены мать и отец, Муся, тетя Саша и дядя Алоиз (Муся тоже была сестра матери и жила с нами). Вот тут уже все в прошлом, и ничего не попишешь – небытие давно поглотило этих людей, и после Муси, тети Саши и дяди Алоиза никого не осталось. Никого! Детьми тетю Сашу и дядю Алоиза судьба не наградила. А Юра, единственный и непутевый сын Муси, ушел из жизни раньше матери. Спился.

Прямо передо мной висела картина Юрия Талдыкина «Трое на айване и аксакал». Талдыкин, наш, ташкентский художник-натюрмортист, очень способный и мною почитаемый, запечатлел на этом полотне долину, обрамленную осенними горами, а на переднем плане – айван под двумя заматерелыми карагачами, трех женщин на айване в длинных восточных одеждах, и аксакала, стоящего несколько обособленно, в стороне, у небольшого круглого пруда, в котором плавали золотые рыбки, карпы или форель очень даже приличного размера. И женщинам, и аксакалу, и предзимней природе было свойственно смирение. Оно и доминировало на полотне, как главная черта и обычное состояние Востока. Только деревья, совершенно голые, были против смирения, их ветви превратились в руки, они и выражали несогласие. Чего хотели эти одушевленные деревья? С чем не соглашались, что отстаивали? С зимой, которая оставила их без листьев, не соглашались? Понять это я и Валерия пытались столько лет, сколько картина нам принадлежала. А купили ее мы, когда мне исполнилось пятьдесят лет, то есть восемнадцать лет назад. Я тогда работал в журнале и прилично зарабатывал.

А первым мы приобрели другое талдыкинское полотно, «Тюльпаны». Роскошные, майские, красные, как стяги революции, они стояли в вазе сиреневого стекла и были непосредственны, как подростки, собравшиеся поиграть в футбол или попеть под гитару. Мясистые стебли подпирали цветы, стреловидные тугие листья тоже передавали устремление в завтра, полное загадок. Юрия Ивановича Талдыкина я выделил задолго до этого. Я тогда начал работать в газете «Правда Востока», и на ярмарке, на улице Навои, увидел натюрморт, который удивил, нет, потряс меня. В сумеречной комнате на столе, на лиловом бархате лежали фрукты и нарезанная дыня; тяжелая портьера прикрывала дверь. Человека в комнате не было, он отсутствовал. Угадывалось, однако, что человеку этому нехорошо, что тяжесть великая лежит на его душе, а как от нее избавиться, ему неизвестно. Я подивился силе впечатления, которое произвело на меня это полотно (иногда целая выставка и близко не оставляла такого впечатления), и прочитал фамилию художника: Талдыкин. Она мне ничего не говорила.

Картина стоила триста рублей, таких денег тогда у меня не было. Это впечатление запало мне в душу и, как эпизод, вошло в повесть «Пики Тянь-Шаня». Повесть вышла в свет, Талдыкину показали страницу, где приводилось впечатление об его полотне, и он этот отзыв запомнил – вместе с именем автора. И много позже, когда у нас появилась возможность приобрести работы Талдыкина, мы поехали к нему в мастерскую, и он во всем пошел нам навстречу – дал покопаться в своих работах и отобрать то, что понравилось особенно. Увы, Юрия Ивановича в живых уже не было. А картин других художников мы не покупали. Валерии очень нравилось полотно с деревьями, голые ветви которых так напоминали человеческие руки, застывшие в виде безмолвного протеста. Мне же больше по душе были тюльпаны, жизнерадостные, как сам месяц май, когда они расцветают. Полотно же с деревьями и далекими горами казалось мне статичным, и Валерия сердилась на меня: как это я не вижу силу внутреннего напряжения, которого в этой картине прямо избыток?

Угол гостиной занимал сервант орехового дерева, румынской работы, заполненный посудой и прочими атрибутами благополучного быта. А на серванте под часами стояли два бронзовых подсвечника – часть письменного прибора, некогда принадлежавшего моему деду Кузьме Феликсовичу. От деда прибор перешел к отцу, от отца – ко мне, и я им дорожил. Сам прибор стоял на моем письменном столе, в спальней. Я даже иногда писал чернилами, макая ручку-самописку в большую чернильницу. Но пополнять чернильницу мне было нечем, чернила в продаже давно отсутствовали. Во вчерашнем дне остались чернила, как и многое другое. В подсвечники были вставлены свечи, наполовину сгоревшие. Мы зажигали их, когда в доме отключали электричество.

Еще на серванте стояло лампадное масло, привезенное из Иерусалима, со святой земли писателем-землепроходцем Евгением Березиковым, другом нашей семьи. Березиков считал себя связующим звеном между Создателем и человеком, между Космосом и человеком, и жизнь его была предельно заполнена функциями, из этого вытекающими; его мечта о единой религии для человечества пока, однако, была далека от воплощения. Его собственных сил хватало только на то, чтобы эту мечту озвучить, донести до ближайшего своего окружения. На большее его не хватало.

И две написанные Валерией книжечки стояли на серванте, с их глянцевых обложек смотрели на нас Катенька и Антон, наши внуки. Книга, посвященная Кате, называлась «Сказка про девочку и хрустальные туфельки», а вторая, посвященная ее брату – «Книжка про Антошику, мальчика хорошего». Я помнил, как вдруг захватила Валерию идея написать сказку про хрустальные туфельки, как она загорелась и на едином порыве все сделала – купила хрустальные туфельки в Центральном универмаге (они и подсказали ей идею), заказала краснодеревщику футляр для них из орехового дерева. Получилась прекрасная шкатулка. Когда краснодеревщик узнал, для чего предназначается его шкатулка, он растрогался, глаза его увлажнились, и он снизил цену за свое изделие до чисто символической. Потом Валерия ночами напролет сочиняла сказку, в которой Катя и Антон

учились различать доброе начало от недоброго, корыстного и злого, а хрустальные туфельки были наградой Катеньке за ее добрые дела и улыбку, наивную и проникновенную одновременно.

Сказка ей удалась. Она дала мне прочитать ее, на предмет правки, и я не заменил в тексте ни одного слова. Когда душа выплескивается искренно, на едином порыве, слово само находит себе продолжение, и поправлять ничего не надо. «Каждый ребенок должен прожить свою сказку, - писала Валерия в предисловии. – И если этого не случилось, то во взрослой жизни чего-то всегда будет не хватать. Ведь сказка – это такой мир, в котором живут необыкновенные герои, совершаются такие поступки и происходят такие события, которых не бывает в обычной жизни. Но мы верим, что так оно и было на самом деле. Потому что хотим, чтобы волшебники жили рядом с нами, помогали нам, творили свои чудеса для нас. Чтобы добро побеждало зло. Чтобы хорошие люди были счастливы, а злые наказаны за свою злость и неправду».

А книжку про Антошика Валерия написала стихами, детскими-детскими; над ней она тоже сидела ночи напролет, пока у нее не получилось нечто, западающее в душу. Позволю себе и из этой книжечки привести маленькую выдержку:

Было сыро. Дождь потек.	Лейку мальчик наш берет,
Посадил Антон цветок.	На цветочек воду льет.
Вкруг да около ходил,	Клумба радугой сияет,
За посадкою следил.	Маму с папой удивляет.
Солнце красное взошло,	Проявил Антон терпенье,
Стало чисто и светло.	Подарил на день рожденья
Вот цветочек появился,	Милой Катеньке цветок,
И Антошик оживился.	Чтоб сплела себе венки,
Что за чудо? Что за цвет?	Чтоб на голову надела
Мой цветочек – равных нет!	И от счастья обалдела.

Написав сказку и стихи, Валерия остроумно их проиллюстрировала рисунками внуков и их фотографиями, набрала текст на компьютере, отпечатала в десяти экземплярах и переплела. Получились настоящие книжки, которыми мы гордились. Леночке они нравились очень, она раскрывала их и отмякала душой, зная, что на другом конце Земли живут люди, которые любят ее и желают ей счастья. В книжке про Антошика были и мои стихи, посвященные Лене (я написал их ко дню ее рождения). Я знал, что Валерия напишет еще одну книгу, скорее всего, стихами, про маленькую Лизу, которой завтра исполнится год. Первые полгода она нянчила ее и была от нее без ума: и умничка она необыкновенная, и вся в нашу породу, и опора и утешение Елене в ее преклонные годы. «Нет, ты только посмотри, какие у Лизоньки глаза!» - восклицала Валерия и млела от восторга, и я смотрел на огромные глаза ребенка и видел в них радость постижения мира и доброту природную, изначальную, готовую стать ее человеческой сущностью, стержнем ее характера.

И несколько дорогих мне фотографий стояло на серванте. Вот сестра Оля, какой она была полвека назад – школьница-старшеклассница с широко распахнутыми глазами (почти такие же глаза у Лизы): и жизнь впереди, и мир впереди. А жизнь подарила сестре поздний брак, любящего мужа Радика и всего одного ребенка, сына Сашеньку, который кончил строительный институт, недавно женился и ждал прибавления семейства. Семья Ольги пять лет назад оставила Ташкент и жила в Санкт Петербурге. Недавно я ее проведаль, и мне показалось, что в Ташкенте Ольге и Радика было лучше. Им, старшим, но не их сыну. Кандидат наук, Оля работала лифтером на каком-то заводе, чтобы семья не знала нужды.

Вот мои московские внуки, Георгий и Екатерина. Ира, их мать, живет со своим Колей Авакяном и забот не ведает – он семьянин, каких поискать. Работает она не больше, чем он, но он ведь еще и астматик, ему тяжелее. Георгий порадовал меня своей женитьбой. Он со своей Катей (кругом одни Кати) учился в одном классе, и в подростковом нежном возрасте они положили друг на друга глаз. Но он поехал учиться в Рязанский институт связи, она осталась в Ташкенте и поступила в педагогический институт. Шло время, и я думал про эту парочку, что она не состоится, ведь народная мудрость гласит: с глаз долой – из сердца вон. Увы, так чаще всего и получается. Но расстояние не погасило их чувство, и, кончив институт, Катя ташкентская на крыльях любви упорхнула в Россию и вышла за Георгия замуж. Это было яркое событие, мне оно приятно погрело сердце. Неделю назад у молодых родилась девочка, назвали ее Анной. Я не знал, как Жора справлялся с ролью главы семьи и отца, он был совсем еще пацан, совсем мальчик. Но перед его глазами был пример родителей; значит, должно получиться и у него. Его Катя, покладистая и работающая, но и умеющая настоять на своем и своего добиться, нравилась мне той старинной русской основательностью, которая всегда ставила женское начало в семье очень высоко, не ниже мужского (ему, правда, не полагалось выпячиваться).

А Катя-младшая быстро превращалась в девушку, броскую не внешностью своей, но умом, обещающим стать блестящим. Лидер она была и заводила, первая в своем классе; невидимые, но сильные рычаги влияния обеспечивали ей лидерство. Тут она пошла не в мать и не в отца, тут она продвинулась дальше. Наверное, гены далеких предков пробудились в ней – и вдруг громко о себе заявили. Год назад она попробовала описать свое

видение ближнего мира, ближайшего своего окружения, домашнего и школьного – и удивила меня глубинным зрением, эмоциональным и аналитическим одновременно, обобщениями хваткими и верными. У меня в ее возрасте и позже и близко так не получалось, лет в тридцать я подошел только к письму, примерно так же отображающему действительность. Она заявила, что хочет посвятить себя журналистике. Но я не стал просить Бога, чтобы это ее желание сохранилось и исполнилось, мне совсем не нравилась сегодняшняя журналистика, злая и неумная, как собачка Моська: лишь бы облаять, очернить, а далее хоть трава не расти.

Часы пробили один раз, и тут же воцарилась тишина. Я протянул руку вправо от себя и достал бутылку. Глоток, еще глоток. За то, чтобы все на белом свете было хорошо, и чтобы молодая поросль дерзала, и чтобы у нее получалось. Пока все так и обстояло, но вместе с двадцать первым веком в мир не вошли покой и согласие. Глобализация, создание единого экономического пространства наталкивалось на несогласие. Террористы взрывали себя и тех, кто оказывался с ними рядом, и страны, которые были далеки от острия технического прогресса, таили глухую неприязнь к странам, этот прогресс обеспечивающим. Открыто никто ни с кем не воевал, противоречия носили характер глубинный, подспудный, но так же, как и раньше, при их разрешении лилась кровь, и лились слезы.

Взгляд мой задержался на телевизоре. Не очень-то я жаловал этот черный ящик, включать его не стал. Он изнурял меня рекламными роликами, назойливыми, как головная боль, - я впадал от них в глухое уныние. Еще он изнурял меня фильмами, американскими и нашими, стержнем которых, при нюансах в содержании, был кулак: удар правой от подбородка к подбородку, и все дела решаются в пользу сильного. Мораль становилась уделом правдоискателей, но никак не средств массовой информации. Замочная скважина, эротика и кулак – вот то, что прямо обожало сегодняшнее телевидение. «Помолчи еще, так всем нам лучше», - сказал я ящику. Наша маленькая страна давно жила без национальной идеи, и так же безалаберно и беспардонно жила большая Россия. Мы с Валерией продолжали, однако, инстинктивно тянуться к России, ведь там были наши корни и наши дети.

Потом я подумал, почему мне ни разу не приснилась эта наша квартира, так мною любимая. Почему мне снится только наша старая квартира на улице Буденного, из которой мы уехали сорок пять лет назад. Она снилась мне упорно, как напоминание о том, чему не суждено повториться. Та квартира запомнилась мне, как оплот большой семьи, где все любили друг друга. Две наши комнаты возникали, как из небытия, с отцом и матерью, с бабушкой и тетей Сашей, с Мусей и ее непутевым сыночком Юрием, еще живыми. С высокой черной голландской печью, к которой так приятно было прислониться в пасмурный зимний день. Эту печь топил я, дровами и углем; ведра угля хватало, чтобы печь стояла горячая двое суток, а потом все повторялось.

В этой квартире я вырос, был мальчиком, пешком ходившим под стол, а стал взрослым. В этой квартире стояло ненавистное мне пианино, и целых два года меня учили музыке, пока я не взбунтовался. А Оля не взбунтовалась, и ее учили долго, она еще ходила в консерваторию. Зачем? Это ей потом не пригодилось. В эту квартиру ко мне приходили школьные друзья Валентин Хадиков и Гена Козлов. Геннадия, увы, уже десять лет не было в живых, а Валентин тихо угасал в Подмоскowie – его донимал и дожимал старческий склероз, и он часто не помнил, где его дом и как в него вернуться. Боже мой, как хорошо нам было вместе, когда мы учились! Потом, когда всего этого не стало, я долго не мог понять, что это ушло от меня навсегда. Но теперь я это понимал. Поэтому я снова протянул руку к заветному бутылку и сделал еще один глоток, чтобы развеять грустную ноту. Не надо минора, даже когда ты сидишь сам на сам и вспоминаешь то, к чему нет возврата. К чему не бывает возврата.

Звонок прозвенел два раза, и я побежал открывать. Валерия стояла на лестничной площадочке, запыхавшаяся и довольная, что она дома. «Серик прочитал такую сильную проповедь! – с порога возвестила она. – Нет, он благословенный наставник, его не устаешь слушать!»

Мне не нужны были посредники между Богом и мною в виде храмов и священнослужителей, я прекрасно без них обходился, а Валерии – нужны, и воскресные хождения в церковь для нее были обязательными и благотворными.

- Что у нас на обед? Я не позавтракала и проголодалась. Вчерашний борщ? Замечательно!

Я достал из холодильника кастрюлю и поставил на плиту. А Валерия устремила к компьютеру – возможно, сын порадует нас вестью о себе. И он-таки напомнил о себе несколькими теплыми словами – что у него все в порядке, и что у него гостит девица Вика из славного города Питера. Мы тихо порадовались этому событию, предвкушая, что очень скоро у сына появится своя семья. Я остановился перед его портретом, который был прикреплен кнопками к торцу шкафчика в спальне Валерии. На меня смотрело улыбочивое, очень даже приятное лицо. «Петя, у тебя все получится!» – сказал я сыну, и он улыбнулся мне широко и благодарно. Ведь ему самому очень хотелось, чтобы у него все получилось.

2005 год

ТЬМА КРОМЕШНАЯ

Рассказ

Сергей Татур

Другу детства Геннадию Козлову посвящаю

1

Мужа я опять отправила в Россию, теперь уже на постоянное место жительства и с надеждой, что скоро к нему присоединюсь. Таню и ее Славика, молодоженов беспечных, спровадила на Чарвак, пусть понежатся не только в объятиях друг друга, но и в объятиях теплой и чистой воды, которая нисколько не хуже черноморской или иссыккульской. Пусть расслабятся, пока своими детками не обзавелись (ох, скорее бы!). Инфантильный Славик, конечно, был недоразумение синеглазое, но на Таню я надеялась, хватка у нее была моя, неброская, но железной не уступающая. Хотя, вполне возможно, на Славике она и прокололась, не пара они, он и пальчика ее не стоит, нянька ему до сих пор нужна, ухо всегда в сторону подсказки развернуто. Но вовремя мы этого не разглядели. А Ира, старшая, со своим Павликом и двумя детками уже год как в Белоруссии, в городе Жлобине. У Павла там родители, и дело он себе присмотрел не пыльное и прибыльное. А Ира сразу устроилась терапевтом в городскую поликлинику и так себя поставила, что ее зауважали; она даже проговорилась, что ее прочат на должность главного врача. Они оба хвалили Белоруссию и ее президента Лукашенко, за порядок и равное внимание к каждому гражданину, а российское телевидение его ругало. Только мне какое дело? Ни плохой, ни хороший Лукашенко меня не волновал. Меня Ельцин волновал – он мне совсем не нравился, мужлан мужланом, и порядки завел такие, когда внешне все по закону, а на самом деле один беспредел торжествует на российских просторах и этими просторами правит. Ельцин был слишком слаб против российского беспредела.

Итак, все мои от меня отхлынули, и осталась я сама с собой, что в последние годы случалось совсем не часто. Понежиться можно, поленишься, побездельничать, а более – ни-ни, я и в молодые годы левых поворотов себе не позволяла, не любила я их, точнее, не понимала, для чего они. Муж, угадывала, изредка это себе позволяя, а я – ни при какой погоде. Не влекло меня, и я не понимала, как другие только и живут этим, только и предвкушают...

Был понедельник, 9 июля 1994 года, и дело подходило к полудню. Одна я была в четырех комнатах нашей очень даже приличной квартиры. А кроме квартиры, прекрасно обставленной, дача еще была у нас, и деньги были, на машину и всякую непредвиденность. С поворотом к рынку я вдруг нашла работу, в сто раз более денежную, чем моя работа преподавателя в местном медицинском институте. Я стала челноком, летаю в Турцию и привожу оттуда серьезными партиями одежду и обувь, которые идут у нас за милую душу.

А поскольку я знаю узбекский (турецкий от него отличается мало) и все мусульманские обычаи и умею за себя постоять, умею защитить свой интерес, челноки, фрахтующие чартерный рейс в Турцию, поставили меня старшей. Я представительствую, я горой стою за всех наших, и это себя оправдывает – я привожу не десять сумок со шмотками, как рядовой челнок, а тридцать, и за рейс выручаю до трех тысяч долларов прибыли. Причем, сама за прилавком не стою, не чертыхаюсь, все отдаю оптом. За каких-нибудь полчаса от всех тридцати сумочек освобождаюсь, а денежку в карман складываю. Да родной университет за пять лет столько мне не выплатит! И с какой стати я должна дальше для него стараться-выкладываться, если нынешняя моя зарплата меньше студенческой стипендии, которую я получала тридцать шесть лет назад?

Я сидела перед выключенным телевизором, и все это пробегало у меня перед глазами. Частная собственность и частная инициатива – это хорошо, а распад Союза на национальные квартиры – это плохо. Рост национального самосознания – это хорошо, а его перерождение в национализм – это плохо. Русский язык в Узбекистане не стал государственным, это тоже плохо. В этих вопросах мы с Геной не разминулись, дискуссий дома не устраивали, а сразу стали ориентироваться на Россию. Здесь нам, специалистам высшего класса, не светило ничего, челночествовать, я знала, мне будет дозволено недолго, до появления какого-нибудь крутого воротилы, который целиком возьмет доставку товаров моей номенклатуры в свои руки. И правильно, нечего за ними самолет гонять, поезда есть для этого и грузовики с кузовами длинными, как товарный вагон.

Гена всю трудовую жизнь проработал в славном институте «Узгипрозем», проектировал рисовые совхозы для Каракалпакии. Курировал, как его проекты претворяются в жизнь. Но независимый Узбекистан перестал осваивать новые земли и перестал строить рисовые совхозы в низовьях Амударьи. Зато республика за три года выстроила прилавки от Ташкента до Термеза и от Андижана до Нукуса, и количество продавцов у нас вот-вот сравняется с количеством покупателей. И я наказала супругу: «Поезжай в Россию и найди там для нас

пристанище. Лучше – в тихом маленьком городке, где тебя поставят главным землеустроителем. А в местной больнице наши дочери и я всегда найдем себе место».

Он съездил по нашим делам уже шесть раз, много чего посмотрел. После пятого раза и соответствующего вознаграждения, переданного в нужные руки, он договорился, и ему предложили маленький город Жигулевск на берегу реки Волги, в котором варили прекрасное пиво. Ему дали должность, которую он просил, но не предоставили квартиру, пообещали осенью. А пока выделили комнату в задрипанной коммуналочке, но в нее мы не стали перебираться – подождем обещанного. Гена снова поехал один и приступил к работе. Жигулевск он расписал мне в таких восторженных тонах, что я поняла: жить в этом симпатичном городке, на берегу всенародно любимой реки, не захочет только ненормальный. Я была согласна переехать, но в подходящие условия – в свою квартиру. Таню со Славиком мы тоже забирали с собой, здесь оставаться им не имело никакого смысла. Здесь им была уготована одна роль – обслуживающего персонала при новых узбеках, и мы с Геней посчитали, что эту роль им лучше выполнять при новых русских. Я же втайне рассчитывала, что Тане самой по силам стать новой русской; Гена и здесь со мной соглашался.

Продолжать свое занятие куплей-продажей в России я почему-то не хотела, оно приносило большие деньги, но не чувство глубокого удовлетворения. Не мое это было дело. Я хотела преподавать, пока не надоест. Еще я хотела, чтобы у меня было много внуков, и тут я рассчитывала больше на Таню, чем на Иру. У Иры с Павлом давно начались сложности и наметилась отчужденность, которая могла зайти далеко, до полного разрыва. Юбочником оказался ее Павел, и с этим Ира должна были или смириться, или... Мне казалось, что она предпочтет второе «или».

Я встала и оглядела себя в зеркало. Лучше бы я этого не делала. Бабушкой я была, и бабушка смотрела на меня, будучи собственным моим отражением. Вспомнила я то ли анекдот, то ли крылатую фразу, пущенную в обиход каким-то юмористом: «Не стыдно быть дедушкой – стыдно спать с бабушкой!» Да, я строгая бабушка, но я еще и пригожа, и Гена до сих пор не стыдился моего пребывания в нашей супружеской постели.

«Радуйся, ты счастливый человек!» – сказала я себе. И дело было не в одном том, что я ни в чем не нуждалась. Жизнь, моя и моей семьи, складывалась так, как я ее поворачивала и выстраивала. Обедать было рановато, и я заварила черный цейлонский чай. Абрикосы, чай и лепешка с тмином – милое дело, кто понимает. А Таня и Славик – все образуется, эту нелепость Таня исправит сама, за ней не заржавеет. Сама напортачила, сама и переиграет, поменяет пластинку. Сама, но с мамино благословения.

Я пила чай, и мне было хорошо. Ароматы далеких тропиков обволакивали меня; солнце пылало в зените, а мне было не жарко. Я посмотрела на фотографию отца и матери: родители сидели друг против друга и тоже пили чай, и умиротворение наполняло их лица добротой всепонимания и тихой грустью, ибо час ухода приближался. Отец ушел два года назад, а мать еще была жива, как и мать Гены Нина Николаевна, но жила по инерции, без отца ей было невмоготу. Я приезжала к ней, присылала дочерей – ничего не менялось, она не отмякала. И тогда я поняла, как много значил для нее отец: его место в ее сердце за ним и осталось. А Гена едва ли помнил своего отца, его отняла у него и у Нины Николаевны война, и одиночеству Нины Николаевны уже больше половины века. Я перевела взгляд на фотографию, где была снята вместе с Геней, и повторила вслух: «Я счастлива, счастлива, счастлива!» А кто, собственно, сомневается? Справки по этому поводу ни в какие инстанции не предоставляются.

11

Телефон застрекотал, и по настойчивости звонка я поняла: междугородка. «Гена!» – подумала я, подлетела к аппарату и произнесла: «Слушаю вас!»

- Софья Садыковна, здравствуйте! Горе у нас! – сказала женщина вибрирующим голосом и не представилась, забыла это сделать.

- Это Жигулевск? – крикнула я; недоброе предчувствие уже цепко меня схватило и не отпускало. Холодок стал подступать к сердцу, и что-то мешало сделать глубокий вдох.

- Жигулевск, так точно! Городской отдел землеустройства. Ваш супруг Геннадий Петрович тяжело травмирован и помещен в реанимацию. Его ударили чем-то железным по голове, и он долго пролежал без сознания. Ему плохо! Более того, ему очень плохо.

- Где ударили? Когда? Кто? За что?

- Это сейчас выясняет следователь. Скорее всего, несчастье произошло в ночь с пятницы на субботу, в его квартире. В субботу он должен был прийти на работу, он и нам всем велел прийти, но сам не пришел, а мы не придали этому особого значения, суббота все-таки. Покрутились немного, его не дождалась и разошлись по домам. Но он не пришел и сегодня, в понедельник. И мы отправили к нему нарочного. Геннадий Петрович лежал в своей комнате, рядом с кроватью, весь в крови и без сознания. Не заперто у него было. Его сразу поместили в реанимацию. Соседка его, Лариса Бочарова, не сказала ничего внятного. Мол, я его не трогала, и откуда он такой явился, не знаю, не видела. Прилетайте! Нужна операция, нужен уход.

- Ему не лучше? – крикнула я в трубку.

- Пока нет. Он двое суток пролежал без медицинской помощи, без глотка воды. Главный врач просил передать вам, что надежды невелики.

- Вылетаю первым же самолетом! – крикнула я.

Дрожь мелкая меня била. Гену ударили сзади чем-то тяжелым по голове, и он отключился. Вполз в свою комнату и вырубился. Ему плохо. Ему очень плохо, а я сижу и предаюсь созерцанию. Бесчувственная! Глупая! Старая курица! Как туда добираться? Самолетом до Куйбышева, а там – такси. Куйбышев теперь называется Самара, но это не важно. Только бы ему полегчало! Он сильный, он сейчас под надзором врачей, ему полегчает, ему уже легче, убеждала себя я. Ирине отобью телеграмму. Таня сейчас, как отрезанный ломоть, ее адрес мне неизвестен. Ей я оставляю записку. И – в аэропорт! Вдруг нужный мне рейс через час? Начну обзванивать справочные и только потеряю время. Да, в аэропорт, в аэропорт!

Я заметалась, но в то же время делала все предельно быстро и четко. Маленький чемоданчик, два платья, нижнее белье, пижама, брюки. Часы. Обязательно – белый халат. Деньги! Денег понадобится много, сегодняшние врачи кормятся от больных и на них же строят свое благополучие. Сколько взять?

Я взяла пять тысяч долларов, потом присоединила к ним еще пять. Пусть лучше останется, чем не хватит. Один раз Гену уже били по голове, и крепко – четверть века назад. За что его били? А ни за что. Ночные люди выразили таким привычным для них способом недовольство примитивным своим бытием. Он просто попался им под руку. Он выкарабкался, приковылял домой, и все обошлось. Я молила Бога, чтобы обошлось и сейчас. Я еще раз оглядела содержимое чемоданчика. Кажется, все. Вперед! Шаг в лифт, и я вниз. Сто шагов, и я на дороге. Первая же машина тормозит и вбирает меня в свое нутро.

- Аэропорт! – говорю я водителю, и мы едем. Я продолжаю дрожать мелкой дрожью.

- Что с вами? – участливо спрашивает водитель.

- У меня несчастье. У меня умирает муж. В России. Его ударили по голове, и он умирает.

Больше вопросов водитель не задает, но чувствую, что он мне сострадает. В аэропорту летнее столпотворение, почти как в советские времена. Подбегаю к расписанию. Рейс на Куйбышев – через шесть часов. Слава Богу, что сегодня, а не завтра – не то пришлось бы лететь через Москву. К кассам очередь. Стою и все еще дрожу. Называю нужный мне рейс. «Билетов нет!» – отвечает мне вульгарная дама, которой все равно. «Мне очень нужно!» – говорю я и протягиваю ей полуторную стоимость билета. И она сразу находит мне место. До регистрации пять часов, и я возвращаюсь домой.

Какая же я дура – не спросила телефона этой женщины! Сейчас я бы ей позвонила, узнала подробности. Ладно, упущенного не вернешь. Схожу у почты, даю телеграмму Ире, пусть тоже приезжает, и поднимаюсь на свой восьмой этаж. Только что я была счастлива, я говорила себе, что счастлива, и вот от моего счастья ничего не осталось, прахом рассыпалось оно. Один холод и мрак вокруг меня. Пишу записку Тане, еще раз смотрю, все ли взяла, что мне понадобится. Да, надо позвонить матери Гены, она обязана знать. У нас с ней не лучшие отношения, но сейчас это не имеет никакого значения. Она живет в домике на земле – таком же ветхом, как она сама. Гена в нем вырос, а потом ушел из него в поисках лучшей доли.

Я говорю Нине Николаевне про несчастье, и говорю, что срочно вылетаю. И вот она уже в таком же диком трансе, как и я. Но ей семьдесят восемь, и ее удел – ждать здесь. Кажется, все предусмотрела, остается ждать. Да, надо оповестить свою команду, что ближайший рейс в Турцию она совершит без меня. Кого еще надо предупредить? У Гены есть младший брат Петя, но он на работе, и его предупредит мать. И сестра есть у Гены, она в Виннице, живет хорошо. Она в состоянии приехать в Жигулевск и помочь. Но и ее пусть оповестит о несчастье Нина Николаевна. Боже мой, как тяжело ждать! Неведение – худшее из тягот. Время словно остановилось.

Я приезжаю в аэропорт за полчаса до регистрации, и меня бьет по голове объявление: мой рейс отменяется – за отсутствием пассажиров. А эта гнида в кассе сказала мне, что нет мест! Чтобы получить с меня мзду. Вот так они здесь радеют для своих авиакомпаний. Ах ты, сука накрашенная! Ты выложишь мне все, что я тебе выложила, и еще положишь сверху, за то положишь, чтобы я жалобу не накатала.

Я бегу в кассу, эта женщина еще работает. Я возвращаю ей билет. Она отдает деньги. «Еще! – говорю я. – Я уплатила вам полуторную стоимость билета. Вы ведь сказали, что мест нет, а самолет почему-то оказался пуст». Она смотрит на меня сузившимися глазами и возвращает то, что я дала ей сверху. «Еще! – говорю я. – За твой сволочизм! Ты украла у меня время! У меня муж умирает!»

- Фигу тебе, а не «еще!» – отвечает она, но глаз не опускает.

- Пишу жалобу! – заявляю я. – Ты же знаешь, сучара жирная, с какой радостью я спущу с тебя три шкуры! – Мое неистовство ей не понравилось, и она вернула мне еще одну стоимость билета. Я тотчас, но не в ее кассе, приобрела билет на Москву. Горе мне, горе! Я теряла драгоценное время. Если я улечу из Москвы самолетом, я потеряю часов шесть – восемь, если уеду поездом, потеряю сутки. Рейс в Москву был ночной, но глаз я не сомкнула. Мне повезло, самолет на Куйбышев улетал через два часа. Полтора часа лета, и я в Куйбышеве, то есть в Самаре. Таксист за доставку в Жигулевск просит дорого, но я говорю: «Заплачу, у меня муж умирает». Торг прекращается, мы едем, где очень быстро, а где и медленнее – как позволяет дорога. Единственное, что я запомнила, это что мы долго переезжали через Волгу, а больше ничего не запомнила – я и по

сторонам не смотрела. Я видела перед собой лицо Гены и все делала машинально. Ага, вот они, Жигули! Ищем больницу, и только когда я убеждаюсь, что Козлов Геннадий Петрович – ее пациент, я расплачиваюсь. Часть денег водитель мне возвращает. «У вас горе, я понимаю», - говорит он.

Это хорошо, когда тебя понимают. «Возьмите за то, что вы понимаете!» – говорю я и отталкиваю его руку с деньгами. «Не могу, вам предстоит расходы!» – Он непреклонен, и я благодарю его и бегу в реанимационную. Чемоданчик все еще со мной, а в нем белый халат, и я на ходу в него облачаюсь. Все оглядываются на мой чемодан. В реанимационную палату мне нельзя, но я прорываюсь. Я так накалена, что от меня шарахаются. Всем говорю, кто я и к кому я. То, что я примчалась сюда из Ташкента, производит впечатление. Гену я угадываю по его телосложению и по белому кокону, в который превращена его голова. Его глаза на мне остановились и меня сопровождают! Узнал и рад! Так он в сознании! Но одни глаза отслеживают меня, все остальное недвижимо. И блеска, блеска нет в его глазах! Одно мутное страдание.

Женщина лет сорока сидит у его кровати, приятная и не медицинский работник.

- Это я вам звонила! – говорит она, поднимаясь. – Меня зовут Анна Федоровна, мы вместе работаем! Какой ужас! Скорее к хирургу, вам важно застать его, он все объяснит!

- Огромное вам спасибо, Анна Федоровна! – благодарю я и наклоняюсь к Гене. Целую его и кричу в самое ухо: «Ты будешь жить, я с тобой!» Он смежает веки в знак того, что понял меня. Даже пальцами не шевелит. Боже мой, во что превращает человека один злой удар по голове! И мы с Анной Федоровной спешим к хирургу, которого зовут Олег Васильевич. Мы застаем его в ординаторской. Он рафинированно благообразен, и глаза его натренированы подмечать женские достоинства. Я такими достоинствами уже не обладаю, и он отмечает это автоматически.

Я называю себя и сразу беру быка за рога, заявляю, что платежеспособна, и прошу немедленно оказать пострадавшему всю необходимую помощь. «Я за все заплачу!» – повторяю я и кладу в карман его халата сто долларов. Он кивает, его лицо приобретает выражение предельной услужливости.

- Сейчас мы Козлова прооперируем, - говорит он. – Прямо сегодня.

- А почему вы не сделали это вчера? – спрашиваю я, не возвышая голоса, но тоном стальным, уличающим в отступлении от клятвы Гиппократ.

- Мы выводили больного из комы, - сказал он, отводя от себя какую-либо вину за промедление. Он уже попадал здесь в самые разные ситуации и знал, как к ним приравниваться.

- Теперь, уважаемый Олег Васильевич, скажите, есть ли надежда? – спросила я и сжалась в комок, ведь слова, которые я должна была услышать, могли заключать приговор.

- Она не велика, - ответил он прямо и посмотрел мне в глаза: я должна понять, что он не всесилен. Ниточка есть, утверждал его взгляд, но она не в его руках, а только в руках Провидения. – Чего вы хотите? Его хватились только через шестьдесят часов. Двое с половиной суток без помощи, без ухода, без глотка воды! Это беспощадные факторы, и они свое слово сказали.

- Противопоставьте этим злым факторам себя, свое умение!

- Я это и делаю, поверьте!

- Пока вы его только перевязали!

- Вы не правы, - мягко возразил он. Он умно отстранял от себя ответственность за бесцельно упущенное время.

- А чем ударили мужа? – спросила я.

- Скорее всего, утюгом. Сзади, он не ожидал. Вмазали будь здоров! Череп пробит, гематома просто громадна!

- Спасти его может только операция? Я отблагодарю вас и вашу команду. И дай Бог, чтобы вам сопутствовала удача!

И какое впечатление произвел на меня Олег Васильевич? А никакое. Серое, скользковатое. Я повидала людей, которые себе на уме; в их обществе я всегда чувствовала себя ягодой другого поля. В медицинском мире их не меньше, чем в любом другом.

Я вернулась в реанимационную палату. Две сестры суетились вокруг Гены, отслеживали работу сердца. Анна Федоровна, обрадованная моим приездом, поведала, что Геннадий Петрович приехал им по нраву, что все у них в отделе пошло на лад, и на тебе!

- А кто его соседи по квартире? – прервала я ее дифирамбы. – Он говорил об одинокой женщине с ребенком. Кто она?

Анна Федоровна в растерянности заморгала часто-часто. Очевидно, я была не тем человеком, с которым можно было откровенно обсуждать эту тему; в ней могли присутствовать деликатные моменты, и моменты очень щекотливые. Ибо лишь сейчас я сделала ударение на том обстоятельстве, что соседкой Геннадия Петровича была одинокая женщина. Не подошла, не поинтересовалась, как и что. Не иначе, здесь скрывалась какая-то ненормальность.

- Бочарова ее фамилия, а звать Ларисой, - сказала Анна Федоровна. – Где работает, не знаю.

- И кто к ней приходит, тоже не знаете, - подсказала я.

- Конечно! Меня попросили посмотреть, почему шеф не явился на работу, и я застала его... в таком жутком состоянии! Кровищи вытекло! Я чуть в обморок не упала. Ну, почему выбор пал на меня? Я такая впечатлительная!

- Понимаю. Вы идите домой, вы устали. Я вам очень благодарна. Скоро начнется операция, и я должна быть возле Гены.

Гену положили на каталку и повезли в операционную. Стоило мне произнести магические слова: «Я заплачу вам!» – и все разительно поменялось. Хирург словно вспомнил, что раненый нуждается в операции, что операция для него – единственный шанс выжить. Я поняла, что до моего приезда к Гене относились здесь, как к бомжу; мэрия своего веского слова не произнесла, обстоятельно происшествие не расследовала. Залетная пташка почирикала-почирикала, потом на нее спикировал местный сокол – и саданул сзади по темечку своим тяжелым клювом. Что ж, бывает, залетной пташке не повезло, и пусть выкарабкивается сама, если сумеет. Боже мой, как мне это знакомо! Мы воспитывали-воспитывали советского человека, мы вкладывали в него все добродетели, ставшие азбучными истинами в мире христианском, да и в других мирах тоже. Но вхождение в рынок все эти ценности опустило, сделало как бы лишними, как бы мешающими здоровому практицизму. На первое место вышло наполнение собственного кармана и все то, что этому способствует.

Я улучила момент и дала Олегу Васильевичу еще денег, чтобы он использовал самые эффективные препараты, в которых появится нужда. Еще я шепнула ему, что у меня первая группа крови. Он кивнул и велел далеко не отлучаться. Я очень хотела, мечтала прямо, чтобы моя кровь не просто понадобилась мужу, а стала переломным моментом в лечении его недуга. Дверь операционной затворилась, мне осталось ждать. Опять ждать. Ждать, ждать и ждать. Но теперь делалось дело, от которого зависело все последующее, и я страстно хотела, чтобы упущенное время его не перечеркнуло. Я хотела этого так сильно, словно для меня это означало второе рождение на свет.

Я села. Потом походила по коридору взад-вперед и снова села. Потом спросила, где находится буфет – это нововведение было совсем недавнее, и выпила там две чашки кофе. Сегодня я не завтракала и не обедала, но с меня не убудет. Как раз это ничего не стоит наверстать! И вот я снова у заветной двери. Как медленно движется время! Всего час прошел. Понедельник промелькнул в невообразимой суете и гонке, и половина вторника промелькнула так же стремительно. Но вот время притормозило само: идет операция, хирург извлекает из раны осколки костей и запекшиеся сгустки крови. Он должен увидеть, в каком состоянии мозг; только после этого сделает выводы. А не сделал ли он их для себя сразу, после первого взгляда на рану? Для наметанного глаза травматолога это не сложно. Сделал он такой вывод, потому и не стал обременять себя, суетиться. Тяжесть травмы снимала с него всякую ответственность.

Я снова хожу по коридору – взад-вперед, взад-вперед. Да, а где мой чемоданчик? В реанимационной палате. Вспомнила, и хорошо. Почему я не молюсь, почему меня не научили молиться? Всевышний, снизойди и помоги! Если Гена умрет, для меня тоже погаснет солнце. Мне не для кого станет жить, дочери и без меня справятся каждая со своей задачей.

Час прошел, всего час. Никто из операционной не вышел, и никто в нее не вошел. Какое-то сонное царство, а не больница. Это для меня одной мир сузился вот до этого крошечного пространства, до одного человека, которого положили на операционный стол, усыпили, и сейчас очищают его рану от всего лишнего и от гноя. Все это поздно, поздно, поздно. Да на лице Олега Васильевича было написано: поздно! Однако почему бы не потренировать себя – за хорошую плату? Вот именно. Ушлый очень этот Олег Васильевич. Узрел свою выгоду и вцепился. Но я вижу в этом шанс и поощряю. Почему среди врачей мало подвижников? А среди кого их много? Среди учителей? Трех из своих школьных учителей я могла бы отнести к подвижникам, они запали мне в душу и тем, что любили нас, учеников, и высочайшим профессионализмом. Они совсем не походили друг на друга. Но, честное слово, они были подвижниками.

И мой дядя-врач был подвижник. В войну раненые, которых он оперировал, выживали чаще, чем раненые, прооперированные другими. После войны он лечил раковых больных, и это тягчайшей ношей легло на его психику. Раковые больные не хотели исцеляться и умирали один за другим. Дядя искал, чем им помочь, но ничего не находил. Когда при нем упоминали о каких-то травах и знахарских средствах, он мгновенно закипал, как закипает честный человек, которого окунают в неправду. «Это шарлатанство! – кричал он, и глаза его делались сердитыми и выпуклыми. – Да будь эти средства хоть с одного краешка эффективны, их бы выпускали вагонами!»

Еще час прошел. Если бы Гену оперировал мой дядя, я бы успокоилась. Но он давно по ту сторону жизни. Для простой чистки раны вроде бы достаточно. Едва ли Олег Васильевич полезет в лабиринты мозга. Еще немного, и дверь отворится. Кровь моя не понадобилась – хорошо это или плохо? Так за что ударили Гену? Неужели... Мне было очень тяжело с этим «неужели». Оно давило на мою психику, как неподъемная ноша. Я бы не назвала нашу семейную жизнь образцовой и гладкой, но она не изобиловала ни сценами ревности, ни сценами

несогласия и ссор, когда плотину прорывает, и супруги наперебой излагают друг другу свои давние и недавние обиды. Только лучше после этих сцен почему-то никому не становится, и у нас их почти не было. Дом держался на мне, и воспитание дочерей лежало на мне, так я себя поставила. Гена, труженик от рождения, много работал и хорошо зарабатывал (он ни разу не поменял места работы), я тоже приносила домой не мало, так что в семье всегда был достаток.

Изменял ли он мне? Я на этом не заикливалась, но нутром чуяла: изменял. Изменял, но не часто. В эти дни он ночевал у матери, наверное, находил у нее понимание и уют. Его Нина Николаевна не жаловала меня, а я не жаловала ее – не в ответ не жаловала, а из-за самого ее первого взгляда на меня, колючего и отвергающего: вон сколько девок красных перебивало в твоих руках, сынок, а кого ты ввел в свой дом, кого назвал женой? Татарку ввел в свой дом, татарку назвал женой – что, на русской нельзя было остановиться?

Я не выдерживаю, встаю и снова – взад-вперед, взад-вперед. Я знаю, что Гена любил меня, и я всегда любила его беззаветно. Я ни разу не сошла с пути истинного, и, более того, ни разу не почувствовала, что хочу этого, что некий мужчина со стороны заслонил собой солнце и небо, и нет на свете ничего, кроме сияющей его улыбки, кроме его белых рук, устремленных ко мне и таких желанных. Нет, нет и нет – и все это без малейшего насилия над собой. У меня был Гена, и все. Я дала ему слово, и все, и все. Страсти-мордасти на стороне, о которых так любили посудачить мои подруги, были не для меня, я не находила в них ничего, что бы облагораживало и возвышало душу. Это было одно сплошное неприличие – я только так оценивала удовольствия на стороне и с этой позиции не сходила. Я не стояла за свою позицию горой, ведь каждый сам выбирает, как ему поступать. Но сама я придерживалась этой позиции так неуклонно, словно выбрала ее с рождения – с молоком матери впитала. Возможно, так оно и обстояло: моя мать заслуживала самого глубокого уважения.

Еще полчаса, и еще десять минут. Дверь операционной распаивается, и первым выходит Олег Васильевич. Театрально он выходит, как ведущий актер, который только что заслужил бурные аплодисменты. Его голова вальяжно откинута назад, как от сознания исполненного долга, и я сочла это за доброе предзнаменование.

- Что скажете? – Я подлетела к нему на едином дыхании.

- Пока не скажу ничего хорошего, и ничего плохого. Не обнадежу. Травмы такого рода чреваты тяжелейшими последствиями. Непредсказуемо все это. Но до операции я полагал, что положение хуже. Давайте уповать... - Он закинул голову назад, и я последовала его примеру. Но неба над собой мы не увидели. Потолок был над нами, безликий, как все больничное. Он заменял нам небо. А уповать на белую безликость здешнего потолка мне не хотелось.

- Спасибо! – поблагодарила я. И заплатила каждому члену его операционной команды. Гену возвратили в ту же реанимационную палату. Я пошла следом за каталкой, легла на пол и тут же уснула. Меня не беспокоили до утра.

1У

Я проснулась. Подле Геннадия дежурила сестра-сиделка, нянечка моего возраста или чуть постарше, а сам он еще спал и дышал ровнее и глубже, чем вчера. Это улучшение я отметила сразу: оно показалось мне симптоматичным.

- Тетя Маша, и как он? – спросила я у сиделки.

- Спит-сопит, страдалец, - сказала она. – Как за него взялись по всем правилам, так и получшало.

- Раньше взялись бы – раньше получшало? – спросила я, хотя ответ знала заранее.

- А то как же? Сами видите, женщина вы с понятием, с жизненным опытом: платить стали, и все забегали, резвость и старание изображают.

- Мне не резвость их нужна, не показуха, а чтобы Гене лучше стало. Выживет? А, тетя Маша?

- Ой, Софья, не знаю. Я не ясновидящая. Хочу, чтобы выжил, уповаю на везение, но не знаю. На моей памяти выживали, которые были потяжелее, и умирали, которые были полегче. Про то, что внутри сердца, и что внутри желудка или печени, врачам все известно. А про то, что внутри головки, известно куда меньше. Отсюда неопределенность высокая. И Олег Васильевич скажет тебе: не знаю. Недаром всем симулянтам врачи совет дают: жалуйтесь на головку! Потому что разобраться, в каком состоянии головка, тяжелее всего.

- Олег Васильевич уже сказал, что не знает прогноза, - подтвердила я. – Ушлый он у вас.

- Против других почти порядочный! – не согласилась тетя Маша.

- Но время он упустил? – сказала я.

- У нас не суетятся, когда больной сам от себя поступает, без сопровождающего лица, - пояснила тетя Маша. – Когда за больным нет надзора родственников, то и за нами нет надзора. Тут уже все по самой малости идет – и лечение, и внимание. И что скажешь, если зарплата при нынешней власти перестала быть зарплатой, если с нее не только ничего не отложишь, но и не проживешь на нее? Такая зарплата погасит старание и в добросовестном человеке.

- Это сейчас для всех больное место, - согласилась я.

- Но не для новых русских! – Тетя Маша посмотрела на опустевший сосуд с физиологическим раствором и извлекла иглу капельницы из вены.

- Что ему приготовить? Что он может есть? – спросила я.

- Что он может пить, – поправила меня сиделка. – Зубками он пока не двигает, и головке больно, и сесть еще не может. Пока ничего не готовьте, пока он нашим растворчиком и старыми своими запасами обойдется. От лишнего жирка избавится – ему одна польза будет. Поясок подтянет, и вот вам ваш юноша в прежнем лучшем виде!

- Я, пока к вам добралась, килограмма два сбросила. По щекам чувствую – осунулись, опали.

- Так вы больше на своих нервах ехали, чем на транспорте, – сказала тетя Маша. Представляю, как это вас ударило.

- По голове и ударило. Оглушило прямо. Я ведать ничего не ведала: ни малейшего предчувствия! У детей все неплохо, у нас тоже, квартиру здесь к зиме обещали дать. И вдруг звонок: «Вашему мужу очень плохо!». Меня как в пропасть столкнули!

- Из нее еще выбираться и выбираться, – сказала тетя Маша печально, и я поняла, что рано возрадовалась: преодоление худшей полосы моей жизни отнюдь не было завершено. – Идите, перекусите, а то в буфете горячее быстро заканчивается! Наговориться мы еще успеем.

Минут десять я приводила себя в порядок, зубы почистила и причесалась. Следовало бы и ванну принять, но просить об одолжениях я не любила. Завтрак не отнял много времени: стакан кефира, пара сосисок, чашка черного кофе, и я вежливо кивнула буфетчице за минимум внимания с ее стороны. Утренний обход: Гене лучше, но общаться с ним еще рано. Пусть спит, сон для него во благо. К деятельности сердца и почек претензий у Олега Васильевича не было, – я и этому порадовалась. Заглянул милицейский следователь и убедился, что пострадавший еще не в состоянии отвечать на его вопросы.

Я догнала его в коридоре: кто это сделал?

- Выясняем! – ответил он и развел руками. – Бочарова, стерлядь, ну, которая его соседка, заявляет, что ничего не видела и ни к чему не причастна. Бессовестная она!

- Причастна! – поправила я следователя. – Она очень даже ко всему причастна!

- В вас интуиция говорит, а нам факты нужны, – сказал он.

- Факты у соседей, это точно! – сказала я. – Кто к ней, женщине одинокой, похаживает?

- Про это осведомлены. Хахалек имеется у Лариски Бочаровой, некто Анатолий Чучмаков, гражданин, ранее судимый за злостное хулиганство. Одна бабуля заявила: приходил к ней хахалек в тот вечер, но быстро слинял. Бочарова не отрицается: да, был, что я, недостойна мужского внимания? Посетил и ушел, у него своя жизнь, а у меня своя. Вот что она утверждает.

- А с этим Толей вы еще не говорили? Толя и есть ваша зацепочка! – Боже мой, как я хотела, чтобы это было не так! Но чуяла: так это, так.

- Поговорю, и непременно! Но правду-матку кто нам сейчас выложит честно и всю? Один потерпевший! На него и уповаю. Его наводка нам нужна.

- Без этого Чучмакова здесь не обошлось, – предположила я.

- И я догадываюсь: не обошлось. Извините, но в ответ на вашу глубокую убежденность могу я задать один не совсем корректный вопрос: что, пострадавший был ходок налево?

- Не был, не был! Но в порядке исключения мог. – Я почувствовала, что краска стыда залила мне щеки и подбирается ко лбу и подбородку. – Это не было его сутью, – пояснила я, понимая всю иносказательность первого своего ответа. – Есть коллекционеры юбок, в этом смысл их жизни. Так он не из их породы. Дон Жуан не его крестный отец. А вот за отдельные моменты я не ручаюсь.

- Спасибо за эти сведения; мне кажется, вы еще нам поможете. Вот вам моя визиточка, позвоните, как только с мужем можно будет переговорить.

«Борис Валентинович Буркин, следователь Жигулевского городского отдела внутренних дел», – прочитала я и сказала себе: «Понятно!» В отличие от Олега Васильевича, он был человеком дела, и ему не терпелось начать раскрутку как можно скорее. И вот я опять сижу перед неподвижной фигурой мужа. Тетя Маша исполнила все нужные назначения и отправилась обслуживать других пациентов. Зоркая она женщина. Чуть что, и она уже с судном, и не гримаса брезгливости на ее лице, а улыбка, словно это ее ребенок лежит перед ней, родное ее чадо. «Повернись, миленький! Ножку вот сюда, миленький! Вот так, вот так! Увидишь, сейчас полегчает!» А «миленький» почти не реагирует на ее шепот, на движения ее рук. Когда я подавала Гене судно, у меня так ловко не получалось. И правильно: я давным-давно уже этого не делала.

Сколько она здесь работает? Тридцать лет. Почему не вышла на пенсию? И пенсия сейчас не та, не советская, и, главное, она при деле, которое нужно людям. С институтских лет я помнила, что результат отличной операции легко перечеркнуть плохим уходом. Сестра что-то не заметила, не прореагировала на изменение ситуации, и время упущено безвозвратно. За тетю Машу здесь держатся двумя руками. «Олег Васильевич мне хорошо от себя добавляет», – призналась она, когда увидела, что я оценила ее работу, ее вдохновение на работе.

Хирург делал это, блюдя свои интересы. Обеспечить круглосуточный уход за тяжело больным человеком – задача, которую решить совсем не просто, и я это знала прекрасно.

Обед прошел, и тихий послеобеденный час прошел, день стал клониться к вечеру. Я на мгновение смежила веки и вдруг услышала горячий шепот:

- Ты здесь, я рад, спасибо! - Гена смотрел на меня, его губы медленно шевелились. Нежность прилила к его лицу, а то, что ему плохо, отодвинулось на второй план.

- Здравствуй! – крикнула я. – Ты будешь жить, домой мы поедем вместе!

- Вы переедете ко мне, - сказал он и прикрыл глаза веками.

- Кто тебя ударил? – крикнула я. Он не ответил. Мог ответить, но не ответил. Он сказал свои слова и обессилел. Тяжело ему было и от раны его, и от сознания, что выплывет правда, рядом с которой ему будет не по себе. Теперь он смотрел в потолок, но взор его не был осознанным. Сознание его опять померкло, затуманилось, окрасилось в сумеречные тона. Эта женщина, его соседка, не знает ничего; так она утверждает. Наитие же подсказывало мне, что она знала, но не помогла. Чтобы отодвинуть час расплаты. Я открыла дверцу Гениной тумбочки. Брюки, пиджак – это то, что мне нужно. Ключи мне нужны – вот они! Бумажник – паспорт на месте. А отсеки для денег пусты. Деньги кто-то выгреб, Гена без денег не выходил никуда. Мало ли для чего могут понадобиться эти бумажечки, даже когда знаешь, что не собираешься ничего покупать. Адрес я помнила: улица Самарская, дом номер 10, квартира 6. Гене я пока не нужна. И я пошла, точнее, поехала по этому адресу.

У

Какими улицами мы ехали и что я увидела, я не запомнила совершенно. Мелькали деревья, дома каменные и деревянные, мелькали перекрестки, а потом я расплатилась с водителем. Дом номер 10 был трехэтажный, бежевый, старый, под шиферной крышей и с фасадом, по которому давно уже должна была пройти кисть маляра. Новыми русскими в таких домах и не пахло.

Я поднялась на второй этаж и позвонила. Никто не вышел ко мне, не отворил дверь. Тогда я достала свой ключ, ведь я шла к себе, в квартиру, одна из комнат которой принадлежала моей семье. На открытие наружной двери в квартире прореагировали. Мальчик лет тринадцати, худой и высокий, устремил на меня свои строгие глаза и спросил: «Вы кто? Вы к кому? Кто дал вам ключи?»

- Я жена Геннадия Петровича, - пояснила я. – Пришла к себе. Муж мой сейчас в больнице. Возможно, он не выживет. По чьей вине он в больнице? Кто пытался убить его?

- Здравствуйте, тетенька! – крикнул подросток и стал тихо пятиться от меня. Он очень меня боялся. Все понимал и боялся. – Я Михаил, а мама скоро придет. А про то, кто обидел Геннадия Петровича, я не знаю, это не в моем присутствии происходило! – Он сказал это уже у дверей своей комнаты и опустил глаза долу.

- Но ведь это здесь произошло? – выпытывала я, а он молчал. Страх был в его глазах, и он подчинялся ему и молчал.

- Это очень тяжело, когда убивают твоего самого дорого человека! – бросила я ему вслед: пусть думает, как и что, не маленький уже. А я вошла в незапертую комнату мужа. Она была просторная и совсем пустая. Ну, кровать из общежития стояла в углу, железная, как напоминание о давно минувших студенческих годах. Кровь подлее нее никто не смыл, и она засохла. И стол еще был, канцелярский, двухтумбовый и тоже преклонновозрастный, из тех, которые давно пора употребить на дрова. И два стула. И чемодан раскрытый, с неряшливо впихнутой в него одеждой. Шарил в нем, что ли? Гена одежду как попало не бросает, аккуратист он. Ни холодильника, ни телевизора. Бытовая техника представлена кипятильником и электрической плиткой.

Ладно, все это мне сейчас без разницы. Я тут переночую несколько раз, и все. Приедет Ира – мне будет облегчение. Почему она не приехала до сих пор? Или ее Павлик снова прилепился к какой-нибудь длинноножке, и ей не по себе? Нет, ей не на кого оставить детей – вот в чем причина. А новую девицу Павлика она бы пережила, она устала вести им учет.

Я беру ведро и тряпку и приступаю к уборке. Смываю кровь, лужу засохшую и засохшие капли, пунктир от порога к кровати. Три раза поменяла воду, пока она перестала окрашиваться в розовый цвет. Михаил затаился, а его маманя, если верить сыночку, еще не пришла. Где же она шастает? К своему Толику побежала, ведь ему сюда сейчас нельзя? То есть, почему нельзя, если он не виноват?

Выскоблив пол, я смотрю, что можно приготовить на ужин. В тумбочках канцелярского стола – продукты и посуда, тот минимум, который способен выручить холостяка. Можно картошку пожарить и залить яйцом, а можно чай вскипятить и избытком кипятка залить лапшу быстрого приготовления. С лапшой все проще, и я выбираю второй вариант. С момента звонка, известившего меня об этом несчастье, я не чувствую голода, так все во мне натянуто – перетянута. Гена, его состояние, - вот все, чем я сейчас живу. Врачи свое слово сказали, надо ждать, и я жду. Он сильный, он поднимется. Ради меня и ради детей, и ради матери своей. И ради себя, конечно. Он поднимется, и Жигулевск станет тем российским городом, в котором мы пустим корни.

Иду на кухню и ставлю чайник на газовую плиту. Генин ли это чайник? Откуда мне знать? Если не его – извинюсь. Дверь открывается, и возникает эта женщина. Я выхожу к ней и называю себя. «Лариса!» – говорит

она, изумленная неожиданностью, но руки не протягивает и слов сочувствия для меня не находит. Нет их у нее, и не будет. Сжалась она, как от предчувствия беды. Я еще раз оглядываю ее: хочу понять, что она из себя представляет. Мадаме тридцать пять годиков, тело вялое, скомканное, невыразительное, лицо продолговатое, серое, мятое, и парфюмерия не облагораживает его, а еще огрубляет, облекая в комическую нелепость. Несчастный это человек и недалекий. Но я примчалась сюда решать не ее проблемы, а свои, правда, созданные ею. И у меня нет ни малейшего желания пощадить ее.

«Да на ней пробы ставить негде!» – вдруг говорю я себе и наливаюсь праведным гневом. Только что толку нацеливать этот гнев на нее? Замкнется и ничего не расскажет.

- Разговор есть, гражданка Бочарова, - говорю я и делаю широкий жест в направлении своей комнаты. – Пройдем, пожалуйста!

- Вот еще! – взвизгивает она сразу. – Я вам должна что-то?

- Должна, и ты это прекрасно понимаешь. Или мне поступить с тобой так же, как ты и твой хахаль поступили с моим мужем? – Я смотрела на нее, как разъяренная львица. И она подчинилась. Сникла и подчинилась. Мы прошли в Генину комнату, и я придвинула ей стул и спросила: - Почему ты не помогла ему? Не вызвала скорую помощь сразу же? Позволила шестьдесят часов валяться без сознания и истекать кровью! Теперь он умрет, и тебе с твоим Толиком придется ответить за это.

Она еще больше сжалась в комок, глаза опустила долу и вымолвила с превеликим трудом: «Я... я не знала! Толя вышел за ним следом и сразу вернулся, и я не подумала, что что-то произошло. Они не ссорились, не спорили. Толя спокойно вернулся и ничего не сказал. Я правда не знала, и догадка ко мне не пришла. Иначе я сразу бы помогла!»

- Утром Гена не появился на кухне, не воспользовался туалетом – это что, не сигнал?

- А я тут с какого припеку? У каждого из нас свои дела, своя жизнь. Я убираю в детском саду и в двух конторах и ухожу рано, а прихожу, когда темно. По утрам мы не видим друг друга.

Собственно, услышанного мне было более чем достаточно. Он, то есть Анатолий Чучмаков, ее сожитель, выскочил следом за Геной и вскоре вернулся. Значит, это произошло у дверей Гениной комнаты. Чем он его ударил – утюгом, гантелью? Ей-то гантели ни к чему, а про Михаила этого не скажешь. Толя нагнал Гену и опустил утюжок сзади, острым носиком вперед. Вот сволочь! Сволочь, сволочь, сволочь! Но он был подогрет ревностью и алкоголем. Теперь надо задать еще вопросы, чтобы она не заметила, что проговорилась. На допросе у следователя она все отрицала, и Борису Валентиновичу не за что было зацепиться. Ему она не доложила, что ее Толечка выбежал за Геной следом. А с какой целью Гена вошел в ее комнату? Или он уже был у нее, когда Чучмаков заявился? Если он уже сидел у нее, Анатолию было с чего взбелениться.

- А как Геннадий Петрович оказался в вашей комнате? Что ему было надо? – спрашиваю я.

- Шоколада! – кричит она, но сразу сникает и поправляет себя. – Он утюг у меня брал, пришел возратить. Ну, мы парой слов перекинулись, я ему чашку чая предложила, и тут Толя вошел. Миша отворил ему, а я и не слышала звоночка, не то сама бы встретила.

- Толе очень не понравилось, что он застал Геннадия Петровича у тебя, - уточняю я.

- Не понравилось, - согласилась Лариса. Теперь она хорошо освещена, и я опять говорю себе, что на ней негде ставить пробы. Потаскуха она, и у нее лицо потаскухи, и улыбка, и глаза. «Я мадам бедовая, я всегда готовая!» Она и ее хахаль – это люди дна; чего я хочу от них? Обездоленные сами, они походя обездоливают других и не видят в этом ничего предосудительного. Они поступают с другими людьми так, как эти люди поступают с ними.

- Пришел Толечка, и Гена сразу зашпешил к себе? – уточняю я. – Где в это время находился утюг? На столе? На полу? У тебя в руках?

- Утюг... Я в это время не на утюг смотрела, а на Толю. Он вспыльчивый и скорый на поступки. И я не помню, где стоял утюг. Скорее всего, на краю стола.

- Раз Толя ударил Гену твоим утюгом, он не мог находиться далеко. На столе он стоял, у Толи под руками. Толя утюжок подхватил и сзади, по-воровски, приложился со всей силой, на какую был способен. Вот как все обстояло!

- Об этом не знаю ничего, - повторила Лариса.

- Ты и следователю сказала: не знаю ничего. А утюг твой уже в деле фигурирует, как вещественное доказательство. Его носик во всех подробностях совпадает с раной, нанесенной Геннадию Петровичу. Но не это меня занимает сейчас. Почему ты не помогла ему? Почему оставила умирать? Потом спихнули бы в Волгу, и все дела? – спросила я первое, что пришло в голову.

- Не знаю я, про что вы говорите и что имеете в виду. – Лариса снова принялась все отрицать. – А утюг мой никакое не вещественное доказательство, и никто его не изымал. Как я им гладила, так и глажу. – Она поднялась и бочком попятилась к двери, не спуская с меня глаз, в которых прочно поселился страх. Она боялась меня и, наверное, ненавидела – за то ненавидела, что я обо всем догадалась. Но до расспросов об этом я не унилась. Закрыв дверь за стусевавшей гостьей, быстро проглотила лапшу, запила ее чаем, заперла дверь Гениной комнаты и отчалила назад, в клинику.

Первым делом внимательно на Гену посмотрела. Он был в сознании, но всего-то дал понять, что видит меня. В его вену по капельке вливался физиологический раствор. Я вошла в ординаторскую и попросила разрешения позвонить следователю. Десять вечера, но ничего. Я поприветствовала Бориса Валентиновича и подробно-подробно изложила ему разговор с Ларисой Бочаровой. Как Анатолий Чучмаков черной тенью скользнул за моим мужем и вскоре возвратился, ничем себя не выдавая. И какую роль в этом событии сыграл утюг. Стоял бы он в шкафчике, на своем обычном месте, а не на столе, и ничего бы не произошло. Я знала, что Буркин прямо сейчас отдаст распоряжение задержать гражданина Чучмакова, и сейчас же, по горячим следам, повторно допросит Бочарову, строя допрос на том, что картина преступления известна ему полностью.

Но облегчения не пришло, туго натянутая струна внутри меня не ослабла. Гена и эта женщина. Эта падшая женщина. Как он мог на нее польститься? Да польстись он на одну из сотрудниц своего землеустроительного отдела, на ту же Анну Федоровну, я бы так на этом не заиклилась. А он... Я смотрела на него и закипала. Я была, как котел, в котором давление пара подходило к критической черте. Он, конечно, знал, как сильно меня обидел. Он поразил меня в самое сердце.

- Тебе лучше? – спросила я через силу.

- Мне так же, мне как утром, - ответил он, едва шевеля губами. – Подай судно!

Я сделала это не так аккуратно, как тетя Маша, и без слов: «Пожалуйста, миленький!» А потом сходила в туалет и там ополоснула тяжелую фаянсовую посудину. Среда была на исходе, а Ира еще не объявилась. Все самое трудное – на мне одной. И всегда так. Трудности обычные легко вытягивал и Гена, а которые позамысловатее, позанозистей, ложились на меня, я их разрешала.

Я вдруг подумала, что Олег Васильевич не попадаете мне на глаза, и это не случайность. Он не может меня обнадежить, травма черепа очень тяжела. Деньги он взял, но за проделанную работу, а не за ее результат. Я хорошо знала этот тип людей по нашим институтским преподавателям: отчитают лекцию хоть в пустоту и никогда не поинтересуются потом, дала ли она добрые всходы. О, про себя я знала, что я не такая; я бы презирала себя, будь я хоть немного такая. А вот эти люди себя не презирали, а любили и холили. Я точно знала, что они брали взятки, за курсовые работы, зачеты и экзаменационные оценки. И тут чутье у них было потрясающее. Кишлачным безденежным парням (их в стенах института становилось все меньше и меньше) они мгновенно выставляли оценку «удовлетворительно», а сынков новых узбеков маринвали на чем свет стоит, пока те не догадывались раскошелиться.

Одна из причин, почему я хотела оставить Узбекистан, в этом и заключалась – мне осточертело работать вместе со взяточниками, называть их коллегами, общаться с ними, как с людьми, равными мне. Преподаватель-взяточник – это выше моего понимания, это не из моего мира. Ни один из этих достаточно умных людей не был патриотом своей страны; их устремления, философские и материальные, не простирались дальше интересов их семей. Для дома, для семьи – это они усвоили и освоили на пять с плюсом. А их суверенная страна, их родной Узбекистан в их помыслах не значились ни под каким номером. Прискорбно было сознавать это, но все обстояло именно так.

О чем это я? Почему, с какой стати в голову лезет столько постороннего, даже потустороннего? А Гена смотрел на меня пристально, и тоска неизбывная была в его взоре. Тоска, как примирение с неизбежным? Или тоска, как несогласие с происшедшим и как осознание собственной вины?

«Сколько на нем марли! – подумала я. – Голова, как кокон. Что же ты, Россия, так приняла своего сына, работника своего нового? Почему так сурово обошлась с ним, словно он враг какой или злоумышленник? Почему вобрала в себя столько человеческой мрази? Почему в забвении твои высокие идеалы?»

Промолчала в ответ Россия, как будто не к ней был обращен мой громкий вопрос. Промолчала и бровью не повела. За каждого своего гражданина она не хотела быть в ответе.

Я опять заснула на полу, на половике, положив под голову руку и два полотенца.

У1

Утром я подметила, что Гене лучше. Это был не быстрый приход весны, не безудержное таяние снега под горячим мартовским солнцем. Гена впервые мне улыбнулся и рукой шевельнул в моем направлении. Я возликовала и хотела покормить его бульоном с ложечки, но он еще не мог поднять голову. В него опять по капельке стал вливаться физиологический раствор. Ладно, пока хватит и этого. Вошли главный врач, Олег Васильевич и свита, и тоже констатировали, по внешнему виду и показаниям приборов, что пациенту лучше. Посудачили между собой, делая ударения на словах «гематома» и «абсцесс», записали увиденное в историю болезни и вальжно удалились.

Я поняла, что не время встречать и задавать Олегу Васильевичу свои вопросы; пусть сначала завершится обход. За врачами пожаловал следователь. Борис Валентинович долго благодарил меня за вчерашний поздний звонок, многое ему прояснивший. Лариса больше не отпиралась, повторила про хахалю, что он помчался вслед за Геной. Анатолия Чучмакова уже задержали, он у сестры ночевал, не в своей квартире. И он признал, что ударил, и сильно ударил, с удовольствием ударил – поднял со стола утюг и припечатал им ненавидимого соседа. А

почему ненавидимого? Потому что встревал он промежду ним и Ларисой, пользовался ею в его отсутствие. Ситуация прояснялась подробно-подробно. Ревность двигала Чучмаковым; пьян же он, как утверждает, не был. Ревность и ввела его во грех. Он не сказал, что сожалеет о содеянном. До сожаления ему еще предстояло дожить.

- Это сильное смягчающее обстоятельство? – поинтересовалась я.

- Очень. Ему дадут вдвое меньше, чем он заслужил. Адвокаты все время будут напирать на это. Ревность и вызванное ею затмение рассудка. Судебный процесс в таких случаях превращается в полоскание грязного белья.

Затем следователь сел против Гены, а меня попросил удалиться. И я снова стала мерить шагами коридор. Беспокоил Борис Валентинович мужа не более пяти минут. Он требовал не уточнений, не деталей, но подтверждения происшедшего. И Гене пришлось подтвердить главное – что ревность Анатолия Чучмакова не была беспричинной, что Лариса отвечала благосклонностью и ему, и давнему своему хахалю. В новые подробности следователь вводить меня не стал, простился вежливо – суду, мол, теперь все будет предельно ясно, обошел меня на почтительном расстоянии и быстро растаял в конце коридора. Неясностей у него не осталось. Но у меня их была целая корзина. И главная среди них – зачем Гена на нее полез? Что его, человека здорового и знающего в женщинах толк, подвигло связаться именно с этой серенькой штучкой? Да такую на панели никто не подберет, не котируются такие, их списывают без всякой жалости и без выходного пособия – за хронической невостребованностью. Такая сама должна заплатить, чтобы с нею пошла!

Я возвращаюсь в палату. Геннадий предельно утомлен, дышит часто, к щекам прилила кровь – словно экзамен он сдавал, и попались вопросы как раз те, на которые он не находил ответа.

- Я все понимаю, - говорю я без предисловия и смотрю не на него, а в окно, - ты поплатился за свою соседку. Мне очень больно.

- Мне еще больнее! – он выцеживал слова по слогам, едва слышно. – Прости меня!

- Все, не будем об этом. Я простила! Выбрось это из головы! Поправляйся, а это выбрось из головы раз и навсегда.

Он смежил веки, ему было крайне неловко. Если бы он знал, что за всем этим последует сия сцена, он бы шагнул лишнего к ней не сделал. Он бы бежал от нее, как от проказы. Я села ближе и взяла его ладонь в свою, подтверждая, что я простила, простила, простила! И тотчас меня поразило, что в его руке мало жизненных соков. Что безвольная она. Пульсация жизни почти отсутствовала. Сердце сокращалось, а лишнее движения тело только существовало.

- Ты... правда... простила? – пролепетал он. И две слезы заелозили по его щекам, оставляя неровные влажные дорожки.

- Все поняла и все простила! Как будто ничего этого не было!

- Какая ты... добрая! Какая...

И надолго воцарилась тишина. Новая сиделка вошла, не тетя Маша, тихая, проворная. Все оценила и негромко сказала мне: «Я вам очень сочувствую. Олег Васильевич доложил главному врачу, что улучшения, которые дала операция, совсем не велики».

- Ой, я сама должна его расспросить! – И я побежала к нему. Перед ним лежала груда историй болезней, он вносил в них последние сведения. Мне он не обрадовался. «Улучшения невелики, - повторил он слова сегодняшней сиделки. – Сознание сумеречное, мозг травмирован глубоко. Мы применяем новейшие швейцарские препараты, но...»

- Я знаю, я вам очень благодарна, - я говорила по инерции то, что должна была сказать.

- Следователь, кажется, все расставил по своим местам? – вдруг поинтересовался он. – Раз Борис Валентинович отчалил, он полностью удовлетворен. Он, поверьте мне, свое дело знает!

- Я в этом убедилась.

- Эти люди с зацикленной психикой...

- Доктор, я не имею права отвлекать вас больше, у вас работа, - и я поклонилась и вышла. Не хочу, чтобы он при мне разглагольствовал об этом человеке. К тому же, насчет его, Анатолия Чучмакова, зацикленности у меня свое мнение. И вот я снова сижу у постели супруга. Единственное, чем он болел прежде, это грипп. Ну, грипп – полежал, и полегчало. Тут же передо мною была жизнь, подвешенная на волоске. Один человечек не смог сдержать свои эмоции, они выплеснулись, и вот что из этого получилось. Один маленький поганый человечек. Кажется, я впервые осознала, что могу потерять мужа. Что он закроет глаза и больше их не откроет. Одиночество ждало меня. Одиночество и старость. Ибо дети не заменят мне человека, который дал им жизнь. Усилием воли я погасила эти мысли, как недостойные.

Хотелось зареветь и выплакаться. Слезы, когда их много, приносят облегчение. Все у меня было хорошо или очень хорошо, а потом все враз оборвалось, мгла обрушилась и лишила меня самого дорогого – моего мужа. Нет, еще не лишила, он дышит, и я могу надеяться. Кажется, Гена заснул. Я иду на почтамт и звоню в Ташкент, Нине Николаевне. Говорю ей правду: надежда есть, но она микроскопически мала. И говорю, что гаденьша этого, который по-воровски ударил Гену сзади, арестовали и будут судить. Чувствую, что старуха всхлипывает. Она ждала других вестей, она надеялась еще больше, чем я. Потом я еще раз набираю Ташкент, свою квартиру.

Трубку никто не берет, Таня и ее Славик купаются и загорают на горячем песочке, часов не наблюдают. И про то, что с папой, Тане еще предстоит узнать. И в Жлобин я звоню, Ире в поликлинику (дома у нее нет телефона). Трубку снимает не она, и я прошу передать ей, что отцу плохо и после операции. Пусть приедет не тогда, когда все кончится, а тогда, когда еще можно помочь. Дело сделано, и я опять выжата и пуста.

Какая тяжелая голова! Города я не вижу, и людей на улицах не вижу. Все это мелькает мимо, мимо, мимо. Может быть, постоять на берегу Волги? Потом, потом. Я возвращаюсь в больницу. Знаю, что лишила Нину Николаевну сна на эти дни. Но я не могла ее обнадежить. Не имела права. В состоянии Гены почти ничего не изменилось. Он дышит – вот все, что я вижу. Вдруг мысль совсем дикая приходит мне в голову: а хочет ли он выздороветь? Или увидел в смерти искупление своих грехов? Если это так, то он непременно угаснет, и очень скоро. Он не поверил, что я его простила и никогда, ни единым словом не напомним, не укорю. Под пыткой не попрекну, не напомним! Хотя сама от всего этого никуда не денусь, в себе носить будут и прокручивать перед глазами бесчисленное количество раз. Он меня очень обидел, но я обязана это в себе спрятать, раз и навсегда.

Боже мой, никогда еще не было мне так больно, паскудно! Никогда еще белый свет так не мерк, готовый погаснуть совсем. Близких мне людей я теряла крайне редко. Два года назад ушел отец. А давным-давно, когда рухнула первая моя любовь, и он, мой избранник, солнышко мое красное, спокойно приклеился к другой девице, мне показалось, что все кончилось, жизнь потеряла цель и смысл. Но прошел день, прошла неделя, и к жизни возвратились все ее яркие краски. Все до одной! Потом я не раз благодарила судьбу, что не вертлявый этот парень, а Гена Козлов стал моим мужем. Все у нас было на высоте, Гена понимал меня, а я понимала его. Убрать отдельные отклонения, и все у нас было на высоте. Было бы можно, я бы очень хотела, чтобы все повторилось. И без каких-либо исключений повторилось, целиком! Но без города Жигулевска повторилось (виновата ли я, что никогда не жаловала жигулевское пиво?), без всего того, что здесь случилось. Кому сейчас хуже, мне или ему? Этого я не знала.

«Не кошунствуй! – сказала я себе. – Ты только при сем присутствуешь, а он уходит. Ты обязана вынести все и не показывать, что тебе плохо». Противоречия раздрают меня на части, а я обязана контролировать себя. Он замер, он спит. Он может и не проснуться, и что тогда? Я отгоняю эту мысль, как злую собаку с разверстой пастью. А за окном меркнут краски. Еще один вечер, и еще одна давящая ночь. Так что ты мне скажешь-поведаешь после зрелого размышления, Лариса Бочарова?

Совсем неожиданно я увидела: мне интересно понять ее. Как она пришла к такой жизни? По какой дорожке шла? Сама ее выбирала, или ее подталкивали? Сиделка обновила физиологический раствор, и я поняла, что сегодня Гене не понадобится. И пошла. Купила бутылку водки и закуску – банку соленых огурцов, немного сыра и колбасы, буханочку черного хлеба – я предпочитала его безвкусному белому. Дверь отперла своим ключом, и сразу выглянула Лариса. Вчерашний страх не выветрился из ее глаз.

- Опять вы... Вы что, ночевать здесь собираетесь?

- А почему бы и нет? – сказала я. – Заходи, сделай милость! Примем по стопочке, я страсть как хочу сбросить эту проклятую тяжесть!

- Геннадию Петровичу не лучше?

- Он уже говорит, но как ребенок. Ему по-прежнему плохо. Врач только и твердит, что об упущенном времени. Вызови ты «скорую» сразу, и он бы уже ходил. Садись, пожалуйста! – Я извлекла бутылку и выложила закуску на газету, как обычно поступают самые неприспособленные люди, для которых важно само общение, но не его форма. Лариса присела на краешек стула, но чувствовала себя не в своей тарелке, и я – тоже. С полудня понедельника я была не в своей тарелке, а сейчас четверг заканчивался и ничего мне не прояснял, оставлял на завтра одни неопределенности. Лариса встрепенулась, принесла стопки, тарелочки, вилки, избавила меня от необходимости отыскивать все это в Генином незнакомом хозяйстве. Что ж, так лучше. За Геной она тоже вот так проворно ухаживала? И что такое общение, как не щит от одиночества?

- Понять тебя желаю, - сказала я Ларисе просто, как человеку из своей среды, и наполнила стопки, заранее ужасаясь тому, что самой придется пить водку.

- Дай Бог, чтобы он поднялся, - сказала она тост и легко, непринужденно опорожнила стопку. А я отпила половину, и огнедышащая жидкость заставила меня поперхнуться. Я и вино-то пила редко, по большим праздникам, а к водке не притрагивалась, не хотела, чтобы кругом шла голова и заплетались ноги. Пьяный мужчина еще полбеда, а пьяная женщина - это от самого дна жизни, хуже и противнее не бывает.

- Понять меня желаете? – с запозданием удивилась Лариса. – Меня? А что тут непонятного? Особенного во мне ничего и близко нет. Я вся на виду, себя ни от кого не прячу. Живу, как многие. Мать-одиночка, чего тут непонятного? Счастливой не была никогда, это точно. Счастье при виде меня всегда в сторонку отодвигалось, словно пугалось меня. Словно недостойная я. Родители пили и жили впроголодь, все в клетушечках каких-то обитали, ссорились, и не было у меня ничего, кроме одежды на каждый день. Я у подруг музыку слушала и телевизор смотрела. Каждое платье носила до полного износа. Замуж вышла побыстрее, чтобы от своих отъединиться. Но и тут прогадала, муж тоже пьющий достался. Так что новая жизнь от старой не отличалась, разве что теперь я сама работала. Миша родился, а моему хоть бы что, пить меньше не стал. Потом его на перекрестке машина опрокинула, и головой об асфальт. С тех пор одна я. И ни проблеска на сером фоне.

Из хахалей то один пристроится, то второй – это что, разве жизнь? Это даже не луч света. Ну, Толя стал навещать. Так он тоже пьющий, и еще из бывших. Я его только терплю, за неимением лучшего.

- Из каких бывших? – я запросила уточнений.

- Из побывавших за колючей проволокой. Драка, поножовщина – вроде бы, обыденное все, а милиция вцепилась, хватку бульдожьей проявила. И вот опять. Он как взорвался. Что ему мой сосед? Ведь при нем ничего и не было! А он внушил себе, что было. Распоясался, позволил злости выплеснуться.

- Не распоясался, а подошел и ударил сзади. Расчетливо подошел и ударил, исподтишка, - напомнила я. Меня удивляло, что не сатанею я, остаюсь в рамках корректного поведения. – А ты почему не удержала, на руках не повисла? – крикнула я.

- Не догадалась, что он за ним побежал. Ведь все тихо-мирно было, пристойно. Сидела я с Мишей, чаек пила с пирожками, и тут Геннадий Петрович вошел, утюжок возвратил и поблагодарил. А Толя чуть ли не следом пожаловал. Геннадий Петрович культурно с ним поздоровался, встал и руку подал, на «вы» его назвал. Разве могла я чего-нибудь заподозрить?

- Ну, а потом, потом? Потом почему не помогла?

- Я опять не догадалась, что случилось плохое. Толя ведь промолчал, что ударил. И по нему не было видно его возбужденного состояния. Ушел он быстро, со мной не остался. И на другой день не спросил, как там мой сосед. Тихо все, я закутилась и забыла о Геннадии Петровиче. Все бегала по каким-то своим маленьким делам – базар, магазин, Мише, опять же, туфельки смотрела, да все дорогие попадались, не по карману. А потом как снег на голову: с работы Геннадия Петровича заявили, а у него голова прошиблена! Думаете, я себя не ругала? Еще как ругала! И гадиной бессердечной называла, и душой беспросветной, и другими плохими словами. А правда-то все равно одна: не подошла, человеческого интереса не проявила. Потому что не знала.

Похоже, что так оно и было. Похоже, Лариса все правильно раскладывала по полочкам. Одно словно специально так наслаивалось на другое, чтобы Гене было хуже и хуже. Чтобы он поскользнулся и не поднялся. Я опять наполнила ее стопку, а в свою налила чуть-чуть, для поддержания компании.

- Себя-то зачем обижаете? – спросила Лариса.

- Так я водку никогда, сейчас только, с горя. Потому что плохо мне. Если бы ты только знала, как мне плохо! Я, считай, всего лишилась, опоры жизненной лишилась. Без него я никто и ничто!

- По такому мужику я бы тоже убивалась, слезами истекала, - сказала Лариса. – Он крепкий, и надо надеяться. Он эту слабость свою преодолет. – Она выпила до конца и не поморщилась. А я отпила немного и опять поперхнулась, опять обожгло мне горло.

- С ним тебе хорошо было? – задала я вопрос, которого не следовало задавать, и напряглась вся, затрепетала.

- Как тебе сказать? – Ларисе вопрос не показался неуместным. – Он со мной был одной своей половиной, которая телесная. А второй своей половиной, которая душевная, он и близко не был со мной. Вторая его половина была с вами. Я это сразу отметила и поникла: в кои годы справного мужичка заполучила, и то на самое короткое время. Я сразу поняла, что все у нас быстро кончится. Но о том, что на самом деле произойдет, мне и в дурном сне не могло привидеться. Если бы я только догадалась, я бы его вниманием не обошла, тут же за врачом побежала бы. Я много чего перенесла и вытерпела, но я не стерва!

И опять все было очень похоже на правду. Я начинала понимать, что не во всем справедлива к Ларисе Бочаровой, не гнида она никакая, а очень несчастный человек. Беда, которая обрушилась на меня, это и ее беда, пусть еще не осознанная остро.

- И как вы сблизились? – задала я еще один неприличный вопрос. – На какой почве?

- Его обыкновенно к женщине потянуло. Как нормального мужика. Сначала был полный нейтралитет. Я видела, что мы очень разные, и никакой задачи по сближению перед собой не ставила, никакой надежды не согревала. Но однажды я что-то готовила на кухне, а он готовил себе – и задержал на мне глаза. Посмотрел немного не так, как вчера. И я это бабской своей сутью уловила. Говорить мы стали. После этого я стала выходить к нему, когда он на кухне хозяйничал, помогать.

- Эдак невзначай? – уточнила я.

- Да, как бы невзначай.

- Чтобы видел: вот она, недостающая твоя половинка?

- Ну, зачем так грубо? – Лариса поморщилась. – Чтобы просто видел. И он увидел. Только я не радовалась никогда. Потому что каждый раз легко мог оказаться последним разом. Я не могла рассчитывать на продолжение длительное, Геннадия Петровича ждала квартира и семья.

- И по этой причине не отдала от себя Анатолия? А то бы отодвинула?

- В один прием! Геннадию Петровичу самому ничего не пришлось бы предпринимать.

Я вновь наполнила ее стопку, и в бутылке осталось менее трети.

- Теперь за здоровье Геннадия Петровича! – смело предложила Лариса и первая со мной чокнулась. Мы выпили, и я почувствовала, что хочу остаться одна. Эта женщина уже не была мне ни противна, ни ненавистна, но я хотела остаться одна. Ничего нового сказать мне она не могла. Она и подсуетилась-то самую

малость, и чисто интуитивно подсуетилась – постаралась в нужную минуту попасться на глаза, и все. Так что же, обвинять ее в этом? Тогда надо идти дальше и обвинять мать-природу, которая поделила все живое на женскую и мужскую половины. Которая поставила саму жизнь в прямую зависимость от единения женского и мужского начала. Я тяжело вздохнула, и вдруг навернулись слезы и потекли. Я промокнула их платочком, - куда там! Они закапали неудержимо.

- Расстроила я вас, простите! – сказала Лариса. И вдруг тоже обронила слезу, мне в унисон. Неожиданно это случилось. Она засмушалась, прикрыла глаза ладонью. Молчание воцарилось за столом, но в нем отсутствовала неприязнь. Это не было молчание отрицания.

- А Толя твой, он что за человек? – спросила я.

- Так. Я о нем ни разу не подумала, как о человеке. Прилипла обыкновенный! Когда все готовое, он тут как тут, и ему хорошо. А самому все подготовить и устроить не дано ему. Такие мужики разве создают семью? Такие только прилипают. Все видела, все знала, да не прогнала сразу. Потому что на безрыбье и эта никчемная штукавина за рыбку сойдет, на время заслонит одиночество. Профессии серьезной не имеет, работает, где придется, лишь бы на плаву себя поддержать. То подметает, то грузит-разгружает. Его даже на догляд не ставят, боятся, что добра, за которым доглядывать надо, станет меньше. Каморка у него при какой-то жилищной конторе, пара белья, и все. А теперь он сядет надолго.

- Сядет! – подтвердила я. – Прослежу, чтобы сел.

Ларису не возмутили мои слова, она даже подтвердила их правильность: «Вестимо! Нанес ущерб обществу – отвечай! Только по-настоящему он разве почувствует, что натворил? Разве осознает? Он и за колючей проволокой не почувствует и не осознает. Не дано ему этого, не дорос он до осознания ответственности».

Я удивилась глубине ее оценки этого никчемного человечка. Посмотрела на нее внимательно, а наливать больше не стала. Ей хватит, а мне – тем более. Вот, значит, обо что я споткнулась. О самую неприглядную российскую обыденность. И она несчастна, и он неприкаян. И каждый вопиет: пожалейте, пожалейте меня! Не может без того, чтобы его не пожалели. А кто меня, дочерей моих пожалеет? В мою жизнь непрошено - негаданно ворвались эти оба, и походя ее поломали. Не обдуманно и безжалостно, а именно походя. Одинокая, среди разливанного моря одиночества! И она легко пригрела моего мужа. На день пригрела, на неделю, на месяц – это как получится. А Толя этот неприкаянный крепко обиделся и вложил свою горькую обиду в удар сзади: не вклинивайся, пришелец, не посягай не на свое!

Просто все было и потому доходчиво и понятно. Вот, значит, как ты живешь-существуешь, матушка Русь! Бездуховна ты сегодня, как никогда, и ни просторы твои тебя не выручают, ни прошлое твое. Что, в таком случае, завтрашний день тебе готовит?

- Не будем плакать, ничего мы слезами не поправим, - сказала я.

- Не будем! – согласилась Лариса. – Единственное, о чем я вас попрошу – не настаивайте, чтобы Толе вынесли на всю катушку.

Я промолчала, я еще никого не простила. Только Гену, его одного. Но, простив его, могла ли я требовать по всей строгости морального кодекса с каждого, причастного к сотворению этого мерзкого зла? Лариса, кажется, поняла мое состояние и тихо удалилась к себе. Я не запомнила, сказала ли она «До свидания!» Наверное, сказала. Она и еще что-то говорила, но я как оглохла. Я сняла покрывало с Гениной постели и легла. Впервые в славном городе Жигулевске я спала на кровати. Я словно провалилась в никуда.

У11

Я проснулась в предутренний час; вскоре должен был забрезжить рассвет. Мгновенно осознала, где я и что со мной. Моя беда никуда от меня не отодвинулась и в своих размерах меньше не стала ни на йоту. Но тишина была потрясающая. И добрая. В такой тишине непременно присутствует Создатель, и не только в моем воображении. И я задала вопрос не себе одной, но и вопрошающему пространству: «Неужели для Гены все кончится? Боже, помоги!»

Ничто не всколыхнулось, не нарушилось в обостренной тишине раннего часа. Предопределенность была, я ее ощущала. Но я не могла распознать ее знака. «Плюс или минус?» – спросила я. Движения воздуха не произошло ни в ту, ни в другую сторону. Замер воздух, и все замерло в природе в предвкушении рассвета. Ожидание продолжалось, чаши весов колебались в примерном равновесии. Это было страшное и мгновенное равновесие между бытием и небытием, и я зажмурила глаза, чтобы не видеть, как оно разрушится.

Заснуть я уже не могла. Я вспомнила наши самые яркие дни. Их было много, из них складывались месяцы и годы. Но вспоминать было больно. Света, света не было впереди, одна мгла кромешная накатывалась густыми черными клубами. Я взяла себя в руки, быстро встала, спроворила легкий завтрак – и пошла в клинику пешком. Вставало солнце и светило прямо в глаза. Желтое оно было и большое, и на него еще можно было смотреть. Несло ли оно мне надежду? Этого я не знала. По сторонам я опять не смотрела. В палате у постели Гены снова сидела тетя Маша.

Я задержала взгляд на муже и увидела, что ему не лучше. Не хуже, но и не лучше. Сколько же продлится это балансирование на лезвии ножа? «Гена, здравствуй, я здесь!» – сказала я громко. Он открыл глаза, уголки его губ изогнулись, что означало приветствие и улыбку.

- Мне... как вчера! – произнес он едва слышно.

- Что у тебя болит? – крикнула я.

- У меня... чужая голова. Ее увеличили сзади. Сзади она большая и тяжелая, как котел. Сзади она тяжелее, чем спереди. Это не моя голова. Если мне возвратят мою голову, я поправлюсь.

Он растратил все свои силы и замолчал. Я посмотрела на сиделку. Тетя Маша ответила мне взглядом: «Терпи, милая!» А Геннадия попросила лечь на бок и вколола ему антибиотики и что-то еще, что должно было вернуть голове сознание, что это Генина голова.

«Вот как это происходит! – сказала я себе. – Даль меркнет, и приходит мрак, и сгущается до крошечного. А потом опускается занавес. И в это время в одном из родильных домов раздастся новый голос, и новая жизнь обретает свои права. Вот как это происходит!»

Потом был обход, уже без главного врача во главе процессии. Олег Васильевич опять отвел от меня глаза и замкнулся. Гена ничем его не порадовал, отвечал невнятно и невпопад, улучшения не было и близко. Я поняла, к чему должна готовиться. Пропустила перед глазами печальную эту процедуру: констатация ухода, обмывание, положение во гроб, проводы на кладбище, удары первых комьев земли о гулкую крышку гроба, возложение цветов и венков на свежий холмик могилы, низкий поклон усопшему, поминки. Поминки повторятся, через девять дней и через сорок. И все. Человека заменит память о нем: он посмотрел, он сказал, он сделал. Еще останутся его вещи. Вещи, потерявшие хозяина. Вещи, заставляющие страдать.

«Рано хоронишь!» – прикрикнула я на себя. А тетя Маша первая со мной не заговаривала, мне отвечала односложно, и это тоже был недобрый признак. Позавчера мы беседовали очень даже мило, и она многое мне прояснила про здешние больничные порядки. Я ее отлично понимала: хуже всего, когда ты не можешь помочь в беде. Беда приходит, а ты бессилён заслониться. Ты против своей воли идешь и открываешь ворота. Тетя Маша не может помочь, и Олег Васильевич не может, а его колокольня повыше. Никто, значит, не может?

После обеда вдруг пришла Анна Федоровна. Еды принесла, от себя и от коллектива, который принял Геннадия Петровича с большим уважением. Я насторожилась: еще одна женщина-одиночка? Но нет, она замужняя, мать троих детей. И муж, судя по ее возвышенному состоянию, очень даже ее устраивает. Прекрасно, Анна Федоровна, я рада за вас, Анна Федоровна! Только от всего этого вашему новому шефу Геннадию Петровичу Козлову не лучше, хотя служебный роман с вами я бы оценила по достоинству. И курочку вы ему зря приготовили, ему нельзя, и фрукты пока нельзя. А бульон?

Надо попробовать. Мы втроем осторожно-осторожно приподняли забинтованную голову, подложили подушки, и Гена с трудом проглотил десять ложек. «Все, спасибо!» – едва вымолвил он, когда открывать рот стало невозможно. Салфетка бумажная нашлась у Анны Федоровны, и она вытерла Гене рот и подбородок. Опыт ухода за детьми, маленькими и большими, капризными и послушными, у нее был велик. «Никаких улучшений! – говорю я Анне Федоровне. – Он на плаву, но все так зыбко. Я вижу, что Олег Васильевич не верит. И тетя Маша уже не верит. – Я жду опровержения от сиделки, но она молчит, на меня не смотрит. – Он мучается, ему тяжело».

- Боже мой! – вздыхает Анна Федоровна. Говорить больше не о чем, и она предлагает мне крепиться, то есть готовиться к худшему. А я что делаю? После ее окаянного звонка в понедельник я только и делаю, что готовлюсь. Я уже не женщина, я робот-автомат. Не расклеиваться! Анне Федоровне нелегко, она так надеялась на улучшение. Я провожаю ее до лифта и благодарю, благодарю. Ибо пока она одна представляла сплоченный коллектив Гениной конторы.

Возвращаюсь, сажусь рядом с сиделкой.

- Что скажете, тетя Маша?

- Опять же скажу: крепиться надо. Чаю, что ли, попьем? Я заварю. – Скорбь я улавливаю в ее голосе. Скорбь и безысходность. Вчера еще их не было.

Она скрывается на пару минут и возвращается с симпатичным фарфоровым чайником, а чашки имеются в наличии в палате. Хуже всего, когда не о чем говорить, когда слова и эмоции падают в цене до такого низкого уровня, что их не замечаешь. Тогда и происходит нагнетание напряжения. Ужас, как пригибают к земле недобрые предчувствия. Сама сошла бы в сырую землю, чтобы освободиться от такого предчувствия. Но испытание мне – пройти через все это, выдержать и подняться. И тетя Маша подтверждает: да, это испытание. Она уже провожала в последний путь и отца, и брата старшего, она все помнит. Мы пьем чай, красный и ароматный, и едим конфеты и фрукты, принесенные Анной Федоровной. Прекрасный чай, выращенный на экзотическом острове Цейлон, и заварен так, как я люблю – с уважением к чайной процедуре.

- Ничего вы не говорите мне, тетя Маша! – жалуясь я и чувствую, что холод близ сердца никуда не девается от горячего чая. Почему не дает о себе знать Ирина? Неужто Павлик так отъединился, что не может присмотреть за детьми? Представляю, как она мечется и разрывается.

- Дочь должна приехать, – говорю я. – Врач она. Что-то дома у нее не так, я переживаю. А то бы уже давно здесь была.

- У всех у них, у молодых, где-нибудь да не клеится, - соглашается со мной тетя Маша. – И потом, они – не мы. Я это нутром чувствую. Своя у них среда. И эти, как они... идеалы свои. Не понимаю я эти их идеалы. Я почему-то об них спотыкаюсь. Для нас эти их идеалы ничто, не наши они, а для них – все на свете. Не знаю, почему это так, но это так.

- А Гена очень плох? – задаю я вопрос по теме, от которой мы слегка отделились. По Тане я тоже вижу, что у молодых другие идеалы.

- Плох, - говорит она, не уточняя, какие возникли осложнения. Процесс разрушения приостановить не удалось, и это была удручающая реальность. Теперь чай казался мне совершенно безвкусным. И по инерции мне еще казалось, что я жду выздоровления; на самом деле я ждала конца, сама себе в этом не признаваясь.

У111

Суббота, восьмой день борьбы за Генину жизнь. Быть или не быть? Нет еще ответа, но он близок. Гена плох, ему не лучше, после каждой перевязки и чистки раны он едва дышит, и кончик его носа белеет, вздрагивая от боли. Каждое слово дается ему с великим напряжением. Олег Васильевич уверяет меня, что делает все возможное. За мои деньги – да, он делает все возможное. А от себя, за свой счет? В этом я не уверена. Не тот он человек, чтобы вот в таких редких случаях постараться прыгнуть выше самого себя. Показное старание я вижу, а истинного, не показного старания не вижу. Оно от характера приходит, и от воспитания. И если мама, папа и учителя не постарались заложить это в молодом человеке, то откуда ему появиться? Само собой оно не появляется.

За субботой так же монотонно течет воскресенье. То, что я наблюдаю, называется угасанием. В субботу Гена покушал из ложечки, а в воскресенье – нет. Помотал головой и не прикоснулся к пище. В палату врывается Ира – и замирает на моей груди. Ей и в голову не могло прийти, что она застанет отца при последнем дыхании. Я ни о чем ее не спрашиваю. Потом, потом, потом! И она ни о чем меня не спрашивает, ей все рассказала история болезни. Мы смотрим на Гену округлившимися глазами, а он угасает. Я простила его, а он все равно уходит. Я простила его, но это его не поддержало. Операция опоздала, и мое прощение опоздало. Нам остается лишь при сем присутствовать, и мы это понимаем. У каждого против даты прихода в этот мир неизбежно появляется вторая дата, дата ухода из него. От и до, а далее небытие. Мы все хотим, чтобы вторая дата появилась как можно позже, но наше желание здесь не самое главное. Нам кажется, что мы все делаем, чтобы расстояние от «от» до «до» было как можно значительнее и заметнее, но так ли это на самом деле?

Я вдруг ловлю себя на мысли, что чрезвычайно плохо осведомлена о своих предках. Две бабушки, два дедушки, а далее мрак неизвестности. Очевидно, мои ближайшие предки были не рабоче-крестьянского происхождения, и мать с отцом сочли за лучшее умолчать о них, а я не проявила должной любознательности. Теперь проявлю, еще не поздно. Я хочу знать о своих корнях как можно больше. И так же подробно я спрошу Нину Николаевну о корнях Гены.

Ира плачет, и я говорю: «Не здесь! Не при папе! Потерпи!» Ночь – это смесь сна и бодрствования, явь на грани сна и сон на грани яви. Тетя Маша дважды давала Гене кислород, прежде в этом не было надобности. Сбои в дыхании я наблюдаю и сама. Он не в сознании, его губы изредка роняют что-то обрывочное, несвязное. Детский лепет. Ему снимают кардиограмму, а утром – энцефалограмму. Она фиксирует затухание мозговых процессов, это необратимо. Иру, дочь свою, Гена так и не увидел. Не признал, не прореагировал на ее приход.

Беспмятство продолжалось весь понедельник, и тетя Маша сказала: «Теперь чем скорее, тем лучше, чуда не случится». И чуда не произошло. Во вторник, в тихий предутренний час сердце Геннадия Петровича Козлова остановилось. В присутствии моем и Ирины. Слова прощания не были произнесены. То есть, их произнесли мы, остающиеся жить, но не умирающий. Этот предутренний час я запомнила отчетливо, а далее все начало подергиваться туманом. Вскрытие, акт о смерти, сдача паспорта в обмен на свидетельство о смерти, услужливый гробовщик, услужливый директор кладбища, услужливый директор кафе, где пройдут поминки – все было, как в тумане. Ира словно вела меня за руку по присутственным местам. Боль выключила мое сознание, и большее мне уже не становилось. Я на все реагировала, как надо, но это была словно не я. Я на все реагировала тупо и бесчувственно, отрешенно. Я не соображала, для чего все это продолжается, если Гены не стало.

Ира сама позвонила Нине Николаевне и Пете, а также Валентине в Винницу. Ни брат, ни сестра на похороны не приехали, а я потом не стала дознаваться, почему, не стала еще раз беречь себе душу. Тани дома не было, она все еще нежилась на берегу Чарвакского водохранилища. Я представляла, какое потрясение ее ждет: отца она любила больше, чем меня. Траурную процессию я запомнила плохо. Я почему-то не давала закрывать гроб, вцепилась в крышку, закричала: «Только вместе со мной!» - и меня оттащили под руки. А поминки совсем не запомнила, мрак отчаяния их поглотил. Про Гену говорили такие хорошие слова, но они во мне не отлагались, я знала, что он лучше.

Потом Ира уехала, у нее в семье все шло кувырком, а как кувырком, я сейчас не могла вникнуть; скорее всего, с распутным своим Павликом ей предстояло проститься. Я же осталась. Суд должен был состояться совсем скоро, и мэрия, где работал Гена, дала мне квартиру, как компенсацию за понесенную утрату. Что ей стоило дать

Гене квартиру сразу, а не комнату в жалкой коммуналке? Что стоило мэру прямо в понедельник заявить главному врачу: «Операция, и немедленно!»

На суде я не вела себя кровожадно. Я один раз пристально посмотрела на это жалкое создание, посаженное в клетку, подумала: «Отребье!» - и больше на него не смотрела. Но я сказала, что недочеловеков не воспитывают наказанием, тюрьма и несвобода не меняют их дьявольской сущности. Ибо Анатолий Чучмаков – не человек, но грязная плоть в облике человеческом. И самое лучшее не оставлять таких людей на белом свете.

Адвокат постарался, вывел Гену новоявленным Дон Жуаном, все расписал красочно и подробно, словно сам от замочной скважины не отрывался. Припадок ревности, взрыв ревности фигурировал у него во всех мыслимых и немыслимых ипостасях. Так он разглагольствовал, эмоциями надавливая на судью. А Толя этот, как по наущению, каялся слезно и просил прощение у всех, а особенно у меня. Я не смотрела на мерзкое его лицо. Он ни о чем не сожалел, но очень хотел выгородить себя. И это ему при поддержке адвоката удалось, он получил всего семь лет. Все обстоятельства этого дела были только смягчающими, и ни одного отягчающего. Лариса Бочарова с ее «не знаю, не ведаю» вообще почти не фигурировала, произнесла свои слова, и все. Наверное, и деньги там были задействованы, не знаю, с какой стороны, точно не с Ларисиной; без денег в сегодняшней России судейские сердца не смягчаются.

А квартиру, двухкомнатную, в новом доме, я сразу продала за пятьдесят тысяч долларов. Не торгуясь продала, даже двери не отперла, не посмотрела, в каком она состоянии. Ведь жить в этом паскудном городе я не собиралась. И Таня, когда обо всем узнала и выплакала свою боль, этой квартирой не соблазнилась. К Олегу Васильевичу, узнать, как и что, и почему его умелым рукам на сей раз не сопутствовала удача, я не пошла. Какая разница, как и что? Гена умер, умер, умер. И мне лучше всего было верить в то, что было упущено время. Судьба, значит, так распорядилась.

Памятник я заказала сразу, не дожидаясь усадки могилы. И его поставили на следующий день после завершения судебного заседания. Белый мрамор, на нем портрет на квадратной плите черного мрамора. Я выбрала фотографию мужа во цвете лет, с сиятельной улыбкой, так напоминающей мне восход солнца – свидетельницей максимальной раскрытости человека миру и свету. Местный умелец постарался, угодил, а я ему угодила хорошим гонораром и огромным количеством водки: не в подпитии работать он не умел, рука у него дрожала.

В предвечерний тихий час, в канун дня отъезда, я пошла на кладбище. В последний раз пошла, поклониться Гене и чувства свои, сначала взвихрившиеся, а потом опавшие, в порядок привести. Знала я, что больше сюда не приеду.

IX

Солнце опускалось быстро, и свет рассеянный шел уже как бы не с его стороны, а со стороны неба, практически отовсюду. Ромашки я купила у замшелой старушки, сидевшей у входа, большой букет, и погрузилась в кладбищенскую тишину и несуетность. Села против памятника, смахнула слезу. Генино лицо было такое родное. Все это было теперь моим прошлым, а я как-то этого не сознавала, внушала себе, что со мной мой Гена, только отлучился недалеко по своим делам. Мы прожили вместе треть века – тридцать четыре года. Эти годы были, как один большой незакатный день. И вот ничтожный человек ничтожными своими амбициями все перечеркнул, убил Гену, а себя своим поступком упек в тюрьму. И нет Гены теперь, и никогда уже не будет. И чтобы поговорить с ним, я сначала должна заглянуть внутрь себя, к памяти обратиться. И говорить со мной он мог только теми словами, которые когда-то уже были произнесены и приняты мною близко к сердцу.

В свое время ему было из кого выбирать, и он выбрал меня. Это я оценила. Домашний он был человек, ну, очень домашний, и одного я себе никогда не прощу – что у нас только двое детей. Их могло быть трое, четверо и даже пятеро, а я по молодости и увлеченности работой не понимала, что детей в счастливой семье должно быть много. После сорока спохватилась, и слезы лила горькие, а что проку от запоздалого осознания собственных ошибок? Поздно спохватилась! Про поезд, который ушел, лучше не вспоминать.

А пространство вокруг меня постепенно становилось сиреневым, одноцветным, лишенным глубины. Шевеление уловила я за спиной, шажки сначала спешные, затем осторожные.

- Здравствуй, Лариса! – сказала я, не оборачиваясь. – Проходи и присаживайся, раз пожаловала! Сделай одолжение!

- А не помешаю?

- Ты прекрасно знаешь, когда ты помешала, - сказала я. – А сейчас что может помешать? Уезжаю я завтра. Так что догляд за могилой на тебе. Денег тебе оставить?

- Обижаете, Софья Садыковна! – ответила она голосом будничным, бесцветным. Я повернулась к ней, откинула назад голову. Блеклая женщина. Серая, как сгустившиеся вечерние краски. И опять одинокая. Ни Гены, ни Анатолия. А я не вспыхиваю, как порох, не вскакиваю, не царапаю ей лицо, не рву волосы. Я и ей разрешаю излить свое горе.

- Ну, так уж и обижаю! – не соглашаюсь я. – Просто имею в виду невысокий твой недостаток.

Она промолчала, а я сказала себе: «Боже мой! О чем это я мелю?» И опять воцарилась тишина. Мы сосредоточились каждая на своем, а время текло незаметно. Оно обтекало нас, не успокаивая, но примиряя с тем, что совершилось. Не надо было отпускать его одного. Хотя, что я бы здесь делала? Бездельничала и себя костерила за безделье? А в Ташкенте я была при деле и при высоком заработке. Все какая-то суета лезет в голову, мелочь пузатая. Сколько солнца было у нас с Геной! Тепло мне было с ним.

А что дальше? Дальше я закончу свои дела в Ташкенте, все продам и уеду к Ирине. Буду ей помогать. И Таню вытащу в Белоруссию. Денег нам хватит, чтобы пустить корни. И обе пусть рожают. Пусть восполняют то, что я упустила так глупо.

- Вы очень хорошая, - вдруг говорит Лариса. – И я жалею, что позволила себе... Гена ведь не сам, он меня пожалел! Я бы, знаете, все отдала, чтобы сейчас чистой стоять перед вами!

- Спасибо, - говорю я, но не говорю, что мне этого не надо. Ей, ей это надо, раз в ней это пробудилось и проросло.

Почти из ничего свет лунный возникает. Припозднились мы. Наверное, мы последние в этой обители мертвых, утешаем себя и не находим утешения. Призраки, где вы? Если бы я сидела здесь одна, я бы вас увидела. А при Ларисе вы стесняетесь появиться. Что такое призраки, тени умерших или их неприкаянные души? Или то и другое вместе?

- Вы очень сильная! – еще говорит Лариса.

- Ну, этого и близко нет! – не соглашаюсь я. – Дома я буду реветь каждый день. Не знаю, когда вырвусь. Возможно, что никогда. А здесь, сколько ни реви, слезы не приносят облегчения.

Присутствие Ларисы – почему оно мне не в тягость? Не потому ли, что, простив Гену, я должна простить и ее? Уже простила? Ведь я последние дни не думаю о ней, как о падшей женщине, на которой негде ставить пробу. Как об одинокой – да, но не как о падшей.

- Отвела душу? – спрашиваю я. – Тогда подожди меня у ворот. Минут десять я посижу здесь одна, ладно? Ты еще придешь сюда, а я – нет.

Она тотчас растворилась в ночи. Было очень тихо. Тихо, но не жутко. Передо мной тоже лежала финишная прямая, но определить ее протяженность я не могла. Все ветры, все невзгоды – на меня! Что ж, я готова. Или мне казалось, что готова. Дети и внуки – мой щит. Я буду с ними, я буду стараться для них, и жернов одиночества не сокрушит меня: я окажусь для него твердым камушком.

Я очень на это надеялась.

2005 год.

Процедура приготовления вина подходила к концу, и я подумал: «А что у меня будет на обед?» Лепешки я купил в электричке, а вареные яйца и брынзу прихватил из дома. Еще у меня были пирожки; Валерии они удались. Еще у меня были брикеты с вермишелью быстрого приготовления, и я подумал, что вскипячу чайник, заварю чайку, а остаток кипяточка плесну на вермишель, и все дела. Эта вермишель совсем не требовала хлопот.

Я заключил в трехлитровый баллон последнюю порцию мятого винограда, нахлобучил на его головку полиэтиленовую пленку, обвязал ее плотно у горлышка – через два дня пленка взбурится, сигнализируя, что процесс пошел, дрожжевые бактерии начали свою неутомимую работу по перегонке сахара в спирт. Баллоны я выстроил в два ряда, у стены комнаты, в которой спал. Огляделся. Полы, конечно, следовало помыть, а паутину по углам смахнуть веником. Но я отложил это на завтра. И так намаялся! Стройные ряды баллонов, в которых через месяц вызреет молодое вино, воодушевили меня, хотя нынешним летом дача не радовала обильным урожаем: рослые деревья абрикоса и урюка не дали ничего, кислотные дожди слизали с них все завязи, и на персиках были одни листья, а вишни уродилось совсем чуть-чуть, втрое меньше прошлогоднего. По этой причине с вишенкой я управился на удивление быстро, а недостающее ее количество прикупил на базаре. Вино из вишни уже выбродило и было готово к снятию первой пробы. На гаражных посиделках это вино отличалось востребованностью необыкновенной.

Можно было мыть руки и разводить огонек. Пользуясь тем, что я один и стороннего глаза за мной нет, я разделся догола и погрузился в бак; теплая вода была несказанно добра ко мне. Можно было, конечно, сходить на старое русло Чирчика и там поплавать в свое удовольствие. Новое русло реке проложили, когда строили гидроэлектростанцию (наше дачное хозяйство расположилось сразу за плотиной), но вода и в нем, и в водохранилище все лето оставалась прехолодная. Но мне не понравилось нахмурившееся небо. Облака нехорошо поступили с солнцем – прикрыли его, и я отложил поход на старое русло Чирчика до полного прояснения погоды.

Огонек в очаге загорелся с первой спички. Я водрузил на него чайник и сел рядышком. Иметь против себя такого отзывчивого собеседника, как живой огонь – милое дело. Дымком повеяло на меня, и далекими годами, тем славным временем, когда я не был стариком, и многое мне удавалось, а замыслы были нацелены на следующие вершины, такие притягательные. Хорошие это были годы. Созидательные. Но еще лучше были годы, которые им предшествовали – когда я, подросток, впервые ощутил, как необъятен и ярок мир, меня окружающий. Красота этого мира оставалась со мной и сейчас, когда жизнь клонилась к закату и болеть начинало то тут, то там, а то и в нескольких местах одновременно, и поступки свои следовало соразмерять с возможностями, которые резко шли на убыль.

В сущности, констатация этого факта не содержала в себе ничего неприятного. Я и в зрелые годы свои возможности старался не ставить очень высоко – и правильно делал.

- Петрович! А, Петрович! – раздалось от входной калитки. Это Юрий Денисович пожаловал, затосковал в своем отшельничестве. Я пошел встретить незваного гостя. Я не обрадовался, но не возникло и чувства протеста, несогласия с его приходом. Он навещал меня частенько, движимый желанием поговорить, а в мое отсутствие присматривал за дачей, и соседский его догляд очень меня выручал: в наше время хронической безработицы и больших общих нехваток оставлять собственность без присмотра было чревато плохими последствиями: лампочку – и ту выкрутят. А о садовом инструменте, посуде и самой простой бытовой технике и говорить нечего, - изымут подчистую.

Юрий Денисович горой возвышался над низкой калиткой. В качестве квартиранта он безвыездно жил на соседней даче до середины осени, а затем, собрав последние орехи (до подножного корма он был большой охотник), воссоединялся с семьей – до будущего лета. Животик у него заметно выпирал – за последние три года, в течение которых я его знал, он несколько увеличился в объеме, но впечатление заматеревшей силы его фигура все-таки источала, скорее всего, уже по инерции. Его лицо грубой топорной выделки щедро одаривало меня приятельской улыбкой, глаза смотрели радостно и лукаво. Чего-чего, а артистизма в его натуре всегда было в избытке: недаром сорок лет назад он слыл звездой в труппе художественной самодеятельности своего элитного машиностроительного предприятия, что позволило ему покататься по стране в свое удовольствие.

- Приветствую тебя, Денисович! – сказал я и толкнул калитку, чтобы она распахнулась перед ним. Он вошел, и я повел его к столу, стоявшему под деревьями урюка, рядом с очагом. – Как ты здесь живешь-здравствуешь? Не одичал вдали от своих женщин?

- Все ничего, да вот мотор вчера прижало.

С мотором и у него, и у меня уже происходили осечки, оба мы уже поимели по одному звончку с названием «инфаркт миокарда». И оба думали и надеялись, что звончек второй, более громкий, раздастся не

завтра. Про свой мотор я знал, что он пока в относительном порядке, новых крупных бляшек, которые могли бы сместиться и закупорить сердце, сосуды не содержали. К такому выводу пришла моя дочь Аленочка, которая проводила обследование на самом современном оборудовании. Она была хорошим врачом, и больные выстраивались к ней в длинную очередь. Я верил ей безоговорочно. После инфаркта и назначенного ему лечения я не уловил со стороны сердца ни одного намека на то, что оно не в порядке. Я вообще перестал чувствовать, что у меня есть сердце. Но, памятуя о случившемся, я не перегружал его и на горные тропы почти не ступал. Сказать то же самое про свой мотор Юрий Денисович не мог, сердце беспокоило его все чаще, что и выражали штрихи недоумения и озабоченности на его простецки откровенном лице.

- Вообще, здоровье падает, и все тускнеет, - продолжал Юрий Денисович. – Прежде я не видел финишной черты, а теперь вижу: она совсем недалеко. Я и принимаю ее как данность, от которой никуда не денешься. Все проходит, Петрович, и мудр был царь Соломон, когда зафиксировал это состояние души, как близкое к сумеречному.

- Ты весь в миноре! – сказал я Денисовичу. – Минор надо бы поубавить. Давай подумаем, как это сделать.

- И, понимаешь, по этой причине апатия накатила великая. Ничего не хочется, я обленился страшно. Сажу и сажу сам на сам в пасмурном безразличии, а время меня обтекает со всех сторон. Пальчиками еще шевелю, а ручками – ни-ни! Это когда я не готовил себе? Не обстирывал себя, не прибирал за собой? Не было такого! А сейчас сажу на сухоматке. Чаек вскипячу, помидорчик сорву, лепешечку разломаю – и точка. Не предел ли это, а, Петрович? Нет, не солдат я уже. Не десантура, не знающая преград (в свое время он служил в элитных десантных войсках и очень этим гордился).

- Садись, - повторил я приглашение. – Мы сейчас вишнепочки моей попробуем, для поднятия бодрости духа. Она, как мне кажется, удалась, а ты волен подтвердить это или опровергнуть.

Он, конечно, предпочел бы водочку, он считал, что ежедневный стакан водки поддерживает его лучше любого лекарства. Острограммливался он в лавочке на берегу водохранилища, до которой было не более полукилометра. Поллитра не брал, чтобы дома не было соблазна прикончить бутылочку за один присест. По нему, однако, не было видно, что дневную порцию горячительного напитка он уже откусал. Когда он попадал в полосу безденежья, он переставал острограммливаться – до наступления лучших времен. В долг у лавочника не брал водку принципиально. Но безденежье распахивало ворота минору, вот ведь в чем дело.

Чайник закипел, и я полил кипятком вермишель быстрого приготовления, рассчитывая и на Юрия Денисовича. А он в это время строгал острым ножичком салат из огурчиков, помидорчиков и зеленого лучку. Он умел и любил готовить, и любил, чтобы еда подавалась красиво, а от стола пахло праздником. И если прежде первой радостью его жизни были женщины, то теперь даже он, женолюб от рождения, не мог утверждать этого. Пирожки я еще поставил на стол, выпечки Валерии. Для нас, не изнуренных физическими нагрузками, этого было вполне достаточно.

Я наполнил вином пластмассовые стаканчики. Рубиновая жидкость лилась тягуче и таила в себе соблазн. «За тебя, Денисович! – провозгласил я. – И пусть минор оставит тебя. Видишь, как здесь приятно. Не жарко уже, лето на исходе, самая благодать наступает. От земли сила притекает, как ни от чего другого. Так порадуемся вместе этой благодати и в нее окунемся!»

- И ты будь здоров! – согласился Юрий Денисович и осушил стаканчик наполовину. Он бы, конечно, предпочел водку. Сухое вино он поглощал, и в большом количестве, между двадцатью и тридцатью пятью годами, когда работал слесарем-лекальщиком и отменно зарабатывал. Заматерев, он перешел на водку и коньяк. Вообще, отдельными моментами своей неординарной биографии он пичкал меня постоянно, и делал это очень импульсивно. И постепенно его биография выстраивалась в моей головке в картину цельную и, надо сказать, достаточно привлекательную.

Отец его пал в Великую отечественную, и о военных годах он помнил, как о годах голодных и холодных, когда люди довольствовались сухой корочкой и обносками. Улица быстро научила его стоять за себя и свои интересы ставить превыше всего. Бойцовские качества и крепкая воля позволили ему верховодить сверстниками. Вдруг он оказался в исправительно-трудовой колонии для малолетних. Как и почему это случилось, он не раскрыл, это осталось его тайной. Полагаю, что он поставил свои интересы очень высоко, и они вошли в конфликт с интересами общества. Скорее всего, он что-то позаимствовал у своего ближнего, и это открылось и было названо воровством. Но это мое предположение, и только. Затем была школа фабрично-заводского обучения, и новоиспеченный слесарь пошел работать на машиностроительный завод. Бойцовские качества сказались и здесь. Но здесь стать лучшим можно было только через постижение мастерства. И он постиг все премудрости слесарного дела, стал лекальщиком, рабочей косточкой. Перед ним, юнцом с руками, которые росли откуда надо, заискивали старшие, его расположения добивались.

В армии он служил, стал десантником. Он был единственный в своей роте с семилетним образованием. Его полком командовал прославленный разведчик Герой Советского Союза Владимир Карпов, который доставил из-за линии фронта семьдесят два языка, а впоследствии стал известным писателем и и даже был посажен в кресло главного редактора журнала «Новый мир», в котором просидел недолго. Послужной список Юрия

Денисовича пестрел благодарностями и взысканиями, губа периодически принимала его и подолгу не отпускала. В роте он лучше всех стрелял и владел приемами рукопашного боя, на учениях выполнял свою задачу дерзко и целеустремленно, мгновенно разбираясь в возникающих ситуациях. Свалиться на условного противника, как снег на голову, застать врасплох ему удавалось лучше, чем кому-либо другому. А на текущей службе без счета убежал в самоволки, отлынивал от строевой подготовки и разными другими способами, а особенно дружбой с бутылкой демонстрировал свое неуважение к кондовому армейскому быту.

Он дослужился до старшего сержанта и за одну из провинностей был разжалован в рядовые. Он стоял во внешнем кольце оцепления, когда на космодроме Байконур произошла страшная трагедия (на старте взорвалась ракета, и погибли десятки старших офицеров во главе с маршалом ракетных войск стратегического назначения Неделиным). Он не знал об этом происшествии два дня, потому что с дружкой-водителем укатил на молочную ферму за двести километров от места оцепления и там напропалую кутил с доярками, истосковавшимися по мужикам. И молока, и самогона на ферме было с избытком, и он познал там, что такое ванна, наполненная молоком, наполовину разбавленным самогоном. «Доярка Маша коров доит, одна корова ей говорит: «Мы все за мир и не хотим войны, пусть процветает колхоз наш...»

Доярки выжали двоих солдатиков до последней капли их мужского естества, а когда они возвратились в свою часть, никто их не хватился, не до них было. Они даже не сразу узнали, что произошло. После армии Юрий Денисович снова слесарил, уже в конструкторском бюро одной большой оборонной конторы, которая относилась к министерству среднего машиностроения СССР. Там к нему обращались на «вы», и он выговаривал конструкторам за просчеты в допусках и другие погрешности. Если те артачились – какой-то слесаришко будет нам указывать, что и как, - делал все по их чертежам, и натура сама доказывала их неправоту: деталь после дотошного осмотра отправлялась в брак. Он же только заключал: «А что я вам говорил?» Он мед пил, а горе-конструкторам западал в душу стальной сарказм его голоса, и более от советов ушлого слесаря они не отмахивались.

Он много поездил по стране, а денег ему хватало на все – про все. Художественная самодеятельность была тогда в большом почете, являясь как бы визитной карточкой крупного предприятия. Юрия Денисовича влекли танцы, и он стал танцевать в самодеятельности. У него это получалось очень эмоционально. Ему аплодировали от души, он выдвинулся в солисты. Ему это нравилось. Их ансамбль получал призы на всесоюзных конкурсах. Один из его учеников, которого он истязал долгими тренировками – видел, что из него будет толк, потом ушел в балетную труппу театра имени Алишера Навои, где и заблистал на первых ролях. Естественно, отношения приязни не рвались между ними никогда.

Почти все женщины рядом с ним становились его женщинами, и получалось это вроде бы само собой, без особых поползновений с его стороны. Легко это происходило, словно по наитию: взгляда с поволокой было достаточно для изъявления желания и получения согласия. Увы, так же скоро происходило и расставание. Но женщину, предназначенную ему судьбой, он углядел и выделил, это была Мария Андреевна Коврова, студентка биологического факультета университета. Домашней основательностью, семейным уютом веяло от нее, и она не поторопилась упасть ему в объятия. Он сказал себе: «Она будет моей женой». Это исполнилось достаточно быстро, их судьбы соединились.

Другие женщины, однако, по-прежнему влекли его, и умная Мария Андреевна вскоре поняла, что сие неизбежно, и смирилась с этим хобби супруга. Другие увлекались вином, футболом, преферансом, рыбалкой, а ее Юра коллекционировал юбки с врожденной неугомонностью человека, на это и запрограммированного. Он, однако, так все устраивал, что его увлечения на стороне обыкновенно продолжения во времени не имели. И Мария Андреевна не стала вразумлять супруга выяснением отношений – бесполезно это, а, главное, себе дороже. Пусть, раз он без этого не умеет обойтись.

Вскоре после свадьбы Юрию Денисовичу намекнули: у твоей супруги за плечами университет, а у тебя всего семилетка. Что, слабо догнать? «Догоню!» – загорелся он и поступил в вечернюю школу, а потом и в университет, на заочное отделение исторического факультета. Чем его привлекала история? Полной противоположностью металлу, с которым он имел дело всю свою сознательную жизнь? У него всегда был хорошо подвешен язык, а для историка и обществоведа это немаловажно.

И вот он – преподаватель истории. Он без сожаления оставляет конструкторское бюро, преподает в университете – и вдвое теряет в зарплате. Интеллектуальная профессия, к которой он так стремился, материально никак не поощряется. Ничего страшного, ему хватает. Его направляют преподавать в высшую школу милиции, присваивают звание капитана. С деньгами становится лучше. Но порядки и нравы в милицейской школе ему претят с первого дня, наушничество и подсиживание цело там махровым цветом – на почве взяточничества, очень для наушничества и подсиживания плодородной. И он долго не выдерживает, посылает эту милицейскую школу на три известных каждому русскому буквы и уходит в обычную школу, где спокойно преподает историю и военное дело за совсем маленькие деньги.

Лет шесть он был директором железнодорожной школы, которую я кончил полвека назад. Он считал, что облагодетельствовал эту школу своим в ней присутствием (он содержал ее в образцовом порядке), но знакомые учителя, с которыми я разговаривал, утверждали, что это не так. «Солдафон ваш Юрий Денисович!» - заявляли

они в один голос, и их лица тускнели. Наверное, при нем они, как и ученики, ходили по струнке. Всякий раз, когда мы ехали вместе в пригородном поезде, Юрий Денисович предъявлял контролеру обветшавшее удостоверение директора железнодорожной школы, и ему разрешали безбилетный проезд. Это очень ему импонировало. А что? Каждая такая поездка экономила ему на 150 граммов. В этику своего безбилетного проезда он, конечно, не углублялся.

Выйдя на пенсию, он нигде не прирабатывал, репетиторство претило его достоинству. Дочь Анна, предпринимательница и менеджер, помогала родителям, а вторая дочь, Дарья, была от них далеко и по характеру своему, и по расстоянию, их разделяющему. Отъединившись, о родителях Даша не заботилась, напротив, то и дело подбрасывала им свою дочь Олечку, старшеклассницу, которой мальчики нравились больше, чем учеба. Дочь Анны, рано овдовевшей, тоже жила при них, и они рьяно о ней заботились, ловили каждый ее шаг вперед и выше. Звали эту славную девочку Галиной. Здесь Юрий Денисович настырно прилепился к чужой даче и отдыхал, в продолжение лета, от своих женщин.

- Вся твоя жизнь промелькнула у меня перед глазами, Денисович! – сказал я. – Как на ладони я ее подержал: и так поворачивал, и эдак.

- Опиши, а я почитаю! – обрадовался он. – Только насчет того, что вся моя жизнь перед тобой, как на ладони, я сильно сомневаюсь. Кое-что я, конечно, рассказал, но всего ведь не перескажешь. Всего даже моя память не держит. У меня, хочу я тебе доложить, кроме дочерей, мною и Марией воспитанных, и сыновья выросли – все на стороне. Сыновья у меня, к сожалению, родились только на стороне. По взаимному согласию, что я не буду принимать участия в их судьбе.

- То есть, женщины получали от тебя то, чего хотели, и после этого вы тихо-мирно расставались? – уточнил я с недоумением в голосе.

- Вот именно. Я ни одной не отказал. Не знаю, прав я или нет, но я на каждое такое предложение отвечал только положительно.

- Выпьем за твоих мальчиков, чтобы им сопутствовала удача, - предложил я и наполнил опустевшие стаканчики. Вино уже слегка действовало, воздух порозовел, и облака, повисшие над долиной, не казались такими давящими. Этим летом капало довольно часто, воздух оставался влажным и в самый зной, так что жара переносилась необыкновенно тяжело.

- Ты хочешь сказать, что не видел ни одного своего сына? – спросил я.

- Почти что так. Не хотел, не стремился, чтобы не было переворота в душе. Ведь это все равно что положить в себя мину замедленного действия. Потянет, и потом не очнешься.

- И сколько у тебя сынков на стороне? Без счета? – задал я вопрос, в котором, наверное, не было необходимости.

- Пятеро! – сказал Юрий Денисович с гордостью. Возможно, за всем этим стояло пять поломанных человеческих судеб; возможно, и нет. Ни ему, ни тем более мне знать этого не было дано. Я, однако, не думал, что женщины, подавшиеся минутному наитию и вырастившие своих сыновей в гордом одиночестве (о, как оно потом было оплакано ими!) или в союзе с новыми мужьями, были счастливы. Едва ли сие могло иметь место. Да, в свое время они очень этого хотели. Но это время промелькнуло, как одно мгновение, замещенное серой обыденностью, которой не было конца.

Я вновь наполнил стаканчики, и бутылка опустела.

- Выпьем за наших жен, которым свойственно многотерпение! – сказал я.

- Моя Маша именно такая, - согласился Юрий Денисович. – И я ей премного благодарен – за то, что понимает меня. Думаешь, она не знает про моих сыновей на стороне? Не просто догадывается и подразумевает, а точно знает. Как будто я уполномочивал ее справки наводить.

- И хоть бы что? – спросил я.

- Сочувствует. Не мне сочувствует, а матерям моих сыновей.

- Ты тоже им сочувствуешь?

- Мы всегда расставались по доброй воле, а далее не было ничего, - сказал Юрий Денисович, поясняя бесполезность и, следовательно, ненужность такого сочувствия. – Хотя нет, один раз мне стало очень больно – нашла все же коса на камень. Когда я учился в университете, со мной училась Лариса, девушка, пригожая во всех отношениях, и на двенадцать лет моложе меня. Мария Андреевна уже была со мной, но это меня не сдерживало. Лариса очень хотела иметь от меня ребенка. Мы сблизились, и свое она получила. А потом она понравилась моему другу, и я благословил их на союз. Все ладком вроде бы. Проходит пятнадцать лет, и Лариса просит меня заглянуть к ней на огонек. «На предмет?» – интересуюсь я. Оказывается, она сказала своему сыну Алеше, что Георгий, ее муж, не его отец. «Ты в своем уме была, когда сказала это?» – спросил я напрямую. Она заюлила. Спорила в горячке глупость, а назад хода нет, дальше идти надо, объясняться надо. Делать нечего, я поехал. Увидел долговязого подростка с лицом, словно срисованным с моего. Поздоровался; обошлись без объятий. Одна мысль про все это была у меня: «Не нужно, не нужно, не нужно!» И с обеих сторон ни намек на радость, на просветление. Не держал я этого Алешеньку на руках, не гулял с ним, не воспитывал. Не мой он!

- Алексей, твой отец – Георгий, у меня с твоей матерью были чисто дружеские отношения, - сказал я, а более не произнес ни слова, Ларису при мальчике не стал распекать. Георгий к нам не вышел, отчужденно сидел в лоджии. Представляю, какие стихии бушевали в его душе! Долго я там оставаться не мог, выскочил, как ошпаренный. Тогда и зашкалило сердце. Я потом отчитывал Ларису, а она как уперлась: «Нет, Алексей должен знать своего настоящего отца!»

- Ну, и чего ты добилась? – спросил я прямым текстом. – Разлад никому не нужный внесла в семью. Сумятицу внесла в нежную еще душу сына.

- Разлад уже был в этой семье, - предположил я.

- Был, согласен, но ведь его причина совсем другая. И зачем вести себя так неумно? Пацана зачем травмировать, отца фактического, который его вырастил, принижать? Эх, бабье, бабье!

- А разве не ты, Денисович, его принизил? – спросил я. – Ты его опередил, не то Лариса родила бы от него. Взгляни, дорогой, на ситуацию с высоты своих совсем не мальчишеских лет: всех твоих сыновей подняли на ноги другие. Не ты, а другие. Разве это нормально?

- Тяжелый вопрос ты на меня опустил, Петрович! Он, как дубовая дубина. Сейчас и я все понимаю, а тогда неумность была через край. Насядешь на девицу, шепнешь страстно: «Пошли?» – «Пошли!» – согласится она. И во мне, и в ней горячий азарт, а более ничего. Мысль о завтрашнем дне – о чем ты? Этого не было и в помине. С Ларисой я быстро расстался. Почувствовал, что увязую, и расстался. А с рижаночкой одной, Вильмой, я валандался долго. Стюардесса она была. Красотка писаная, сделанная, как на заказ. Вылепленная маэстро, который знает свое дело. Прилетит, и мы вместе. Ее командир экипажа чуть ли не за руку держал, но она всегда находила способ уйти от опеки. Кончилось это тем, что ее сняли с ташкентского рейса.

- У нее тоже растет сыночек? – спросил я.

- Вырос давно, - нехотя согласился Юрий Денисович, и строгим, даже опустошенным сделалось его лицо. – Это я обходным путем установил, от самой Вильмы известий не поступало. Знойная она была женщина. Как наше лето знойная. Но все, умолкаю я. Вижу, что ты меня осуждаешь.

Я выразительно пожал плечами. Осуждай я Юрия Денисовича или не осуждай, это сейчас не имело ни малейшего значения. Речь-то шла о далеком прошлом, дело было сделано давным-давно и обратного хода не имело, возвращения на круги своя не предусматривалось. Чаю еще мы попили, но как-то вяло, без воодушевления. Вдруг закапало, потом закапало сильнее, листья встрепенулись, тяжелея от дождя. Юрий Денисович поднялся, намереваясь откланяться.

- Не осуждай меня, Петрович! – попросил он, как о милости великой, и вразвалочку направился к калитке. А я подумал о его жене, которую Создатель наградил необыкновенным терпением. И еще подумал, почему они в своей семейной жизни ограничились двумя детьми. Шаги Юрия Денисовича затихли. Закапало обильнее, громче. Я подхватил железную печурку с малиновыми угольями и отнес ее под навес, а рядом поставил стул. Добавил дровишек, и огонь возобновился. Дождь лил, а я сидел у румяного огонька и блаженствовал. Но мысль о сыновьях Юрия Денисовича меня не оставляла. Мораль такое поведение отвергала прямо и однозначно. Но люди, те самые люди, про которых никто не мог сказать, что они плохие, весьма часто поступали вопреки нормам морали. А жалели ли они потом об этом или нет, уже не имело значения: новая человеческая жизнь начиналась в условиях, для нее не самых благоприятных.

«Как бабочка, я на огонь лечу и огненность целую», - процитировал я поэта, которого очень любил. Я представил себе череду женщин самого разного достоинства, которые трепетали и были наверху блаженства в объятиях Юрия Денисовича. Которые придумывали тысячу и один предлог, чтобы было продолжение. Ну, а после, после? После наступала голая обыденность с пеленками, с вечными нехватками, с хроническим несчастьем. Лариса, наверное, позвала его не только для того, чтобы показать отцу своего сыночка. Действовала остаточная деформация, глубинная и не рубцующаяся; ей-то она и не могла противиться.

- Петрович! – раздалось из-за забора. – Я пойду, остограммлюсь! Хмуро что-то на сердце, а это не есть хорошо. Не в ту степь потянули меня воспоминания – не к добру это. Тебе принести?

- Не надо, Денисович! – крикнул я в пелену дождя. Мне вполне хватало вина моего приготовления. Закапало еще сильнее, и сразу после этого дождь как оборвался. На западе уже светлело. Свежестью потянуло, прохладой, близкой осенью. Хорошо было у огонька. Я перевел взгляд на себя, на свои отношения с женской половиной человечества. Даль несусветная отделяла меня от этой поры, но многое виделось явственно, как будто произошло вчера. Кого-то и я обездолил, и сознавать это все еще было больно. Хотя, в отличие от Юрия Денисовича, коллекционером юбок и пенкоснимателем не был никогда, в чужих постелях не просыпался, не влекло меня это. Я совершенно точно знал, что ни один из моих детей не вырос на стороне, вне моего внимания и догляда.

2005 год

Этот невзрачный человек по имени Юрий Захарович Никитин не так давно уехал, перестал быть моим соседом и партнером по шахматам. И я ни разу не вспомнил о нем, пока на последних гаражных посиделках не услышал, что он умер. Он умер в поезде, на пути из Ташкента в Тверь, куда перебирался с семьей; Россия хотя и поздно, но перетянула его к себе. Подробностей мужики, сообщившие о смерти Никитина, конечно, не знали. Скорее всего, у старика остановилось сердце. Мне не то чтобы стало не по себе, Юрий Захарович не был мне ни другом, ни добрым знакомым. Правда, одно время мы общались довольно тесно, шахматная доска влекла нас неудержимо, но он позволил себе поступить со мной и моей супругой Валерией несправедливым образом, позволил себе хорошо на нас пожить, и на этом наши отношения прекратились. Ничего удивительного! В наше время первоначального накопления капитала такие преобразования людей происходят сплошь и рядом. Один ракурс показывает нам человека, приятного во всех отношениях, а второй ракурс, вдруг открывшийся совершенно неожиданно, являет нам пиявку оголтелую и непотребную.

Но мне все еще было непонятно и неприятно, что человек, в котором были заложены семена добра, не дал им прорасти, а позволил прорасти совсем другим семенам, к добру не имеющим никакого касательства. Значит, так его настроила вся практика предыдущей жизни, а особенно практика последних лет, которая пришлась на становление рыночных отношений в суверенной республике Узбекистан.

Я вспомнил и наше знакомство, и наше сближение, пришедшее к нам через многие точки соприкосновения, и свое несогласие с последующим поведением Юрия Захаровича, разом это сближение перечеркнувшее, прекратившее. Он увидел, что на нашей семье можно заработать, и не преминул этим воспользоваться. Он очень легко переступил границы приличия. Он переступил их так легко, словно делал это постоянно. И вот его не стало. Ни жалости, ни сострадания во мне не поднялось, значит, их не было. Что-то интересное могло состояться, когда мы начали сближаться, но не состоялось, в дружескую привязанность не переросло. Что ж, так уже было много раз. В конце концов, каждый из нас получает то, что заслужил и заработал, и крайне редко – что-то сверх этого, как поощрение за доброту и отзывчивость. Крайне редко кто-то из нас получает больше, чем заслужил. Значит, это не в правилах жизни.

Я познакомился с Юрием Захаровичем много позже, чем мог. А мог бы и вовсе не познакомиться, проходил бы мимо, и все. Наверное, это и был лучший для всех вариант. Я постоянно видел его у гаражей, которые выстроились в две линии в тридцати метрах от нашего дома. Приземистый, с напряжением опирающийся на клюку, он одаривал меня взглядом пристальным и пронизательным, но и безрадостным одновременно. Я кивал мужчинам, в числе которых был и Юрий Захарович, и шел своей дорогой. Давно выйдя на пенсию, дни свои он привычно коротал в гараже – прирабатывал к пенсии ремонтом часов и мелкой бытовой техники, а вечерами приторговывал водочкой в разлив, делая ее из спирта, который закупал оптом, ящиками. Эта хозяйственная жилка Юрию Захаровичу, отставному подполковнику милиции, была очень кстати, ведь, выходя в отставку еще в Советском Союзе, он рассчитывал на одну пенсию, а теперь получал другую, которая была в три раза меньше, и, как умел (и как получалось) компенсировал утрату. Это от него впоследствии я услышу, что не пенсия у нас маленькая, а месяц большой.

Свел меня с ним метростроевец Валерий Николаевич Сулимов, отец Константина, который дружил с моим сыном Петром. Скорее всего, Петя и Константин были однокашниками. Сулимов откомендовал Никитина, как шахматиста – кандидата в мастера, и, в более широком плане, как человека, прекрасно соображающего, что к чему. Сам Валерий Николаевич, как ему казалось, тоже неплохо соображал, что к чему, только слишком часто глубоко соображать ему мешало состояние сильного подпития. В момент знакомства мы пожали друг другу руки со словами «Очень приятно!» Юрий Захарович задержал на мне взгляд оценивающий – как рентгеном просветил, затем сделал широкий приглашающий жест, и я вошел в гараж, где у верстака стояли знакомые мне мужики – Витя-фитиль, который занимался извозом и ремонтом автомобилей и обожал ловить рыбку на Арнасайских разливах, и Юрий Валентинович Атаманчук, известный метростроевец, коренастый и основательный, каким и должен быть носитель такой образной фамилии.

На верстаке стояла бутылка водки, окруженная нехитрой закуской, и меня пригласили составить компанию. «Так не годится, я принесу свою водочку», - сказал я и побежал в магазин, благо он находился не далее как в ста метрах. Мужики сопроводили мой порыв общей улыбкой одобрения. Мы выпили и раз, и два под громкий разговор ни о чем, под всплеск эмоций, которые гаражных стен никогда не покидали. Позже из такого эмоционального разговора память почему-то была не в состоянии выудить ни одного путного события. А когда

водки осталось совсем ничего, группа разделилась по интересам. Витюшу-фитиля увела домой супруга, бдительно следившая, чтобы он не перегружал себя, Валерий Николаевич и Атаманчук уселись за нарды, а передо мною и Юрием Захаровичем в гаражном сумраке появилась шахматная доска с фигурами, потертость которых свидетельствовала как об их долгом веке, так и о том, что они подвергались каждодневной интенсивной эксплуатации.

- Назад ходов я не беру никогда! – неизвестно для чего предупредил меня маэстро. «И славненько, что не берешь, а мне-то что? Я тоже не любитель обратных ходов», – подумал я и двинул вперед на два поля центральную пешку. Он ответил, и вскоре мир сузился до размеров шахматной доски, на которой каждая из сторон отстаивала, как умела, свои интересы. Рядом с нами стучали кости игроков в нарды, звучали комментарии к выпавшим очкам – мы ничего этого не замечали. Мы были целиком поглощены собственными комбинациями. Водочка под наши комбинации шла совсем незаметно, сопровождаемая скромной закуской. Сыр и колбаса под гаражной кровлей уже считались изыском, и часто ребята довольствовались лепешкой и огурчиком-помидорчиком недавней посолки.

Юрий Захарович напрягся и первую партию выиграл. Я мобилизовался, и во второй партии он с трудом добился ничьей. Несколько раз он задумывался так, что было видно: я задал ему задачу. Вскоре игроки в нарды откланялись и, пошатываясь, побрели каждый в направлении своего дома, а мы ничего им не сказали и даже не сразу заметили их отсутствие. Мы играли самозабвенно, и тогда за Юрием Захаровичем спустилась дочка. Время приближалось к полуночи.

- Однако! – воскликнула Валерия, открыв мне дверь. – Где это ты так нагрузился?

И я рассказал ей о новом знакомом и о шахматных баталиях, остановивших время.

С того вечера я и стал своим человеком в гараже Юрия Захаровича. При чисто русских фамилии, имени и отчестве он имел глубокие мордовские корни, но что конкретно вносили они в его характер и облик, я так и не уяснил себе. Его родители выбрали для проживания наш жаркий край отнюдь не по доброй воле, коллективизация катком прошла по ним, причисленным к кулакам (скорее всего, они просто не хотели идти в колхоз), сорвала с насжденного места и лишила привычного образа жизни. И много чего еще она их лишила, только Юрий Захарович об этом не распространялся. Он вырос в Ташкенте, и здесь же получил образование. Служба в милиции давала ему и хороший заработок, и хороший к нему приварок. Люди, торговавшие на базарах, обслуживавшие пивные и забегаловки, своими местами дорожили и власть имущих ублажали бесплатной выпивкой и другими знаками глубокого уважения, не столь приметными.

Чувство члена команды Никитина, как мне кажется, не подводило, и все же в отставку он вышел рановато – значит, этому способствовали какие-то обстоятельства, которые Юрий Захарович афишировать не собирался. Он любил читать и собрал отменную библиотеку, раза в два превышавшую мою, и я подумал, что его библиотека пополнялась иными путями, нежели моя. А я много лет пользовался услугами книжной лавки, которая обслуживала аппарат ЦК Компартии Узбекистана.

Валерий Николаевич, Витя-фитиль и Атаманчук за глаза называли Юрия Захаровича Ментом, и вскоре некоторые штрихи убедили меня, что ментом он и остался. Пространство вокруг него оставалось подвластно его зоркому глазу. Ему нравилось, когда на этом пространстве соблюдался порядок, а люди своими поступками и поведением не задавали загадок, то есть не выходили за рамки приличий и норм, установленных обществом. В беседах нравоучительного плана милицейское назидательное начало из него выпирало очень заметно; если этого оказывалось мало, следовали окрик и прямое указание не делать того-то и того-то. Но он прекрасно знал, с кем следует вести такие беседы, а кому при любых обстоятельствах надо выказывать чувство глубокого уважения.

Весь день Юрий Захарович занимался мелким ремонтом. Насадив лупу на правый глаз, ковырялся в часовых механизмах, возвращал уютным возможность нагреваться, а замкам – возможность открываться и закрываться. Делал он это с видимым удовольствием и за очень умеренную плату, перенимая клиентов у домов быта и умельцев, державших свои мастерские. Но наступал вечер, и он позволял себе расслабиться в обществе людей платежеспособных и себя уважающих. Людей неплатежеспособных он не жаловал и на порог своего гаража не пускал, так что господам-товарищам халявщикам от его солидных водочных запасов не выпадало ни грамма. Перед людьми преуспевающими он заискивал, но принуждение этих заискиваний всегда было на виду, и чувствовал я, что в душе он не жаловал людей преуспевающих – наверное, потому, что себя с некоторых пор к ним не относил.

Все это, однако, на наши отношения почти не влияло. Он был крепким шахматным орешком, я тоже, и это нас сблизило. Ему понравилось, что на день рождения, пятого сентября, я подарил ему свою книгу, изданную в Москве. Вдруг он приболел, лег в госпиталь на краю города – я навестил его и раз, и два, проделав большие концы, и он это запомнил, ибо все прочие завсегдатаи гаражных посиделок проведать его не удосужились. В госпитале он тоже ремонтировал часы врачам и сестрам – за доброе к себе отношение.

У Валерии, которая еще занималась предпринимательством, появились лишние деньги, и она решила приобрести в нашем дворе гараж (она мечтала тогда о своей машине и даже отправила меня на водительские курсы). Юрий Захарович залебезил перед ней, расстелил ковровую дорожку комплиментов и внимания, и вскоре она стала хозяйкой стандартного гаража, не очень ухоженного, уплатив за него Никитину 2200 долларов. Позже

выяснилось, что процентов пятнадцать от этой суммы перетекло в руки Юрия Захаровича, как посредника. Я не сказал об этом Валерии, чтобы ее не травмировать, но на своего нового знакомого посмотрел совсем другими глазами. Он, оказывается, был очень себе на уме. Он разительно преобразался, когда оказывалось, что притекать к нему может не по капле, как обычно, а сразу в больших размерах. Лицо его загоралось алчным внутренним блеском, воля напрягалась, и он превращался в чрезвычайно целеустремленного человека. Товарищеские отношения тогда автоматически перетекали на второй план, уступая место голому интересу.

И еще один раз Валерия обратилась к нему за содействием – когда хитрый татарин Нигматуллин, торговавший запасными частями к российским автомобилям и сдававший ей склад под бумагу, пообещал ей приобрести «Волгу» на очень выгодных условиях. Она ссудила ему деньги в долг, а расплатиться он пообещал новенькой «Волгой». Но миновал один срок возврата долга, и второй, и третий, я успел сдать экзамен на водительские права и получить их, а вожделенной «Волги» мы так и не увидели. И Валерия осознала: кинул ее Нигматуллин, и не видеть ей отданных ему в долг денег, как своих ушей. Тогда она и пошла попросить помощи у Никитина.

- Помогу, - заявил он, ознакомившись с предоставленными ему бумагами. – Но действовать мои ребята будут жестко, и возврат долга обойдется в три тысячи «зелененьких». Их уплатите не вы, их уплатит Нигматуллин, как лицо, посчитавшее, что можно не выполнять принятые на себя обязательства. Это будет своего рода штраф за нарушение этики предпринимательства.

- Жестко – это как? – поинтересовалась Валерия.

- Посредством взятия под стражу за мошенничество, и посредством принуждения. Мои ребята пощекочут ему селезенку, и он быстренько вспомнит, что долг платежом красен.

Валерия поразмыслила темной ноченькой и от применения силы отказалась. Куш сорвался, Юрий Захарович жестко сжал скулы, но промолчал. И я продолжал вечерами посещать его гараж. В шахматы мы играли с переменным успехом. Счет своим победам я не вел, но мне казалось, что проигрываю я не чаще, чем выигрываю. Юрий Захарович жаловался на ноги, которые снабжались кровью все хуже и хуже, передвигался с трудом, вперевалочку, и клюка исправно служила ему третьей опорой. По лестнице на свой срединный этаж он поднимался более пяти минут, вцепившись руками в перила и подтягивая тело руками.

Минувшее он вспоминал редко, и не потому, что не дорожил им, а по причине его невозвратности. Но знакомым, приходившим к нему в гараж, любил давать характеристики, фокусируя свет прожектора на качествах не положительных, а отрицательных. Моему появлению, однако, он радовался всегда. Он что-то мелкое сделал у нас на дому, кажется, поставил звонок. Валерия предложила ему окрестить внучку Машеньку; она соглашалась стать крестной матерью, а я – крестным отцом. В погожий осенний день мы исполнили это. Ребенок смотрел на церемонию крещения изумленно и мало чего понял, хотя красота торжества и захватила девочку.

Между тем, у Валерии начались трудности с людьми, из которых состоял ее коллектив. Он вдруг перестал быть сплоченным и монолитным, его члены резко потянули одеяло на себя, и она поняла: надо закрываться. Неблагодарность людей, которых она практически кормила, поставила ее в тупик. Ах, так? Она закроется, и пусть они попробуют в другом месте заработать столько, сколько получают у нее! Дочка Аленочка звала ее в гости, у нее должен был родиться второй ребенок, мальчик, и Валерия заявила: «Все, закрываюсь и еду в Америку!»

Закрытие, однако, включало в себя длительные хождения по многим инстанциям. Свой коллектив она уволила, она очень разочаровалась в людях, которым все было мало, и уволилась сама. А директором поставила Юрия Захаровича. Это был совершенно неожиданный ход, и я сказал ей, чтобы она не шла на это. Я уже угадывал в Никитине алчного человека. Но она успела с ним переговорить и попятного шага делать не стала – он сумел заверить ее в полной своей благонадежности. Она уповала на мои с ним дружеские, доверительные отношения.

Юрий Захарович фирму принял; на ее счету было триста тысяч сумов, или более шестисот долларов. На эти денежки новый директор нацелился сразу. Четких указаний насчет закрытия Валерия ему не оставила: пока, мол, держитесь, а там видно будет. Она рассчитывала, вернувшись черед два месяца, руками Юрия Захаровича руководить фирмой дальше, ничем не рискуя, ведь заказчики, имевшие с ней дело, высоко ставили ее профессионализм, деловитость и верность слову.

Как только Валерия отчалила в благословенную страну, Юрий Захарович принял на работу брата-инвалида (инвалидам полагались льготы), и вдвоем они быстро сократили счет до минимума. Теперь водка в гараже Никитина лилась рекой каждый вечер, и на дармовщинку дружно набегала его многочисленная родня, какие-то братцы и сватцы, какие-то молодцеватые племянники. Валерия вернулась и ужаснулась увиденному: от ее денег, на которые она тоже рассчитывала, не осталось ровным счетом ни копейки.

- Как же так! – всплеснула она руками, уязвленная в самое сердце. – Я вам столько оставила, а увидела ноль целых ноль десятых! О вашем братике мы вообще не вели речи! Вы меня разорили! На какие шиши мы будем закрываться?

- А это ваши проблемы, уважаемая Валерия Павловна! – парировал Юрий Захарович. Два месяца он потратил на скрупулезный анализ деловой документации фирмы и, наверное, нащупал узкие места – на предмет, чтобы в них при случае поковырялись органы надзирающие и контролирующиеся.

- Вы взяли себе все! – не сдержалась Валерия.

- Вы тоже себя не обижали, - напомнил Юрий Захарович и одарил ее взглядом, в котором таилось предостережение.

- Да, но я и зарабатывала, договора приносила! А вы только проедали заработанное мною!

- Несите договора, будут и деньги, - парировал Юрий Захарович без зазрения совести.

Валерия поняла, в какую глубокую яму попала – кормить такую пиявочку, какой оказался этот человек, ее не мог заставить сам господин президент. Нет, нет и нет!

Но она не дала волю чувствам, ее обуревавшим, не выплеснулась до конца – она затаилась.

- Все, теперь я точно закрываюсь, этот паук меня доконал! – крикнула она дома. Вся радость от счастливого пребывания в Америке погасла, вокруг были одни лиловые тона, одни черные проблемы. И поверх этих проблем торжественно восседал Паук, как теперь Виктория величала Юрия Захаровича. Кличка прилипла к нему намертво, в гаражах она понравилась больше, чем прежняя – Мент. Она точнее и глубже выражала его человеческую сущность.

Между тем, доведя счет фирмы до нуля, Юрий Захарович и его криворотый братец уволились. И слава Богу! Валерия ощутила словно поддержку свыше. Она молниеносно провела одну, вторую и третью операции через фирму нашего родственника, отпечатала прекрасные этикетки, мгновенно восстановила свое финансовое положение, и если бы Никитин прознал про это, зависть черной рукой сдавила бы его сердце. То есть, прояви он дальновидность и такт, выполни все распоряжения Валерии и останься директором, он бы заработал много больше, чем присвоил за два месяца. Но жадность помешала ему просчитать этот вполне очевидный вариант. А я стал бегать по инстанциям и закрывать фирму Валерии.

Бегал я добросовестно (одна сдача печати в милицию потребовала пять хождений в разные инстанции) и за месяц собрал все необходимые документы. Дела фирмы были отправлены в архив, помещение возвращено жилищно-эксплуатационной конторе, последняя точка поставлена в налоговой инспекции и районном хокимiate, и Валерия вздохнула с облегчением. С Пауком, естественно, она больше не здоровалась, она брезговала подходить к нему близко. Я тоже перестал захаживать к нему в гараж, и наши шахматные баталии прекратились.

При встречах он заискивал и юлил, пытался восстановить то, что было, и я почти простил его, но, помня непреклонность Валерии, на новое сближение не пошел. Она была бы очень недовольна, если бы я восстановил с ним нормальные отношения. Он провожал меня пристальным жалким взглядом, в котором было что-то от собачьей провинности. Он очень хотел продолжения общения, возобновления вечерних шахматных баталий. Но далеко стороной обходил я теперь его гараж, и его подъезд, и внучку Машеньку, свою крестную, когда она играла во дворе, хотя дитя чистое было ни в чем не виновато. Нет, нет и нет, дражайший Юрий Захарович!

Приближалось его семидесятилетие. Он перехватил меня во дворе и пригласил на юбилей. «Приди!» – умоляли его глаза. Но я отрицательно покачал головой.

- Умру я скоро, - сказал он тогда печально. – Ноги совсем не ходят, не слушаются меня. Гараж продам, и квартиру продам. Жалко, что ты от меня отвернулся!

Его слова о близкой смерти я оставил без ответа. Я тоже сознавал близость последней черты – я чувствовал ее, как неизбежность. Вскоре у гаража Юрия Захаровича появился новый хозяин, и я больше Никитина не видел. Я, конечно, по нему не скучал, ведь стать друзьями мы не успели. И вот – известие об его смерти. Я вновь оглянулся назад, но не стал ворошить плохое – зачем? Однако подумал, что друзей у меня в городе Ташкенте не осталось ни одного. Знакомые были, а друзей – ни одного. Почему? Неужели друзьями обзаводятся только в юные годы? В школе у меня было два закадычных друга, в институте к ним прибавилось еще два. Двоих друзей дала мне работа, но потом эти двое повели себя в отношении меня и моей семьи так же бесцеремонно и потребительски, как впоследствии Юрий Захарович, и дружба погасла, уязвленная предательством в самое сердце. А друзей школьных и институтских житейское море раскидало по разным своим берегам, и наши отношения прекратились естественным путем, за далью несусветной, нас разделившей. Да, друзей рядом со мной не осталось ни одного, но мне все еще казалось, что я открыт для дружбы. Мне все еще приятно было верить в это.

И изредка я забредал в растворенные ворота гаражей то к Вите-фитилю, то к Атаманчуку, всегда со своим вином, и мы неплохо проводили время. Но душевной близости при этом почему-то не возникало. Были контакты кратковременные, сиюминутные, а продолжения не следовало, и побудительная сила, питающая продолжение, не прорастала. Неужели друзья – это удел юности искрометной, когда вокруг тебя столько хорошего, а особенно много простора и надежд?

Наверное, этот простор беспредельный и рождал друзей, а когда его не стало, когда его вытеснила обыденность определенности, пошло на убыль и все остальное. В зрелые годы в товарищеских отношениях начал преобладать расчет, задействовалась формула «Ты – мне, я – тебе», и дружба на этой сугубо меркантильной почве уже не произрастала. Ведь ей была нужна совсем иная питательная среда. Восторг романтики ей был нужен, и полное доверие, и устремленность в светлое завтра. Так что голая меркантильность на этом фоне сразу начинала душно пахнуть.

НЕВОСТРЕБОВАННОСТЬ

Рассказ

Сергей Татур

В институтские годы и после института, когда я работал инженером-гидротехником и учился писать, сочинял рассказы и повести, которые никто не публиковал, и из них вскоре сложилась стопка высокая и внушительная, я почему-то не чувствовал себя невостребованным человеком. Да, я не публиковался, но это было начало пути, и я не паниковал, не комплексовал по этому поводу, а проводил столько времени за письменным столом и пишущей машинкой, сколько мог себе позволить. Мне нравилось писать, и все остальное служило только подспорьем – даже любимая мною гидравлическая лаборатория. Даже семья, которая очень страдала от этого моего увлечения, недополучая родительское тепло. Я, конечно, питал надежду, что придет время, и количество, подгоняемое энтузиазмом, скажется на качестве. Я очень на это надеялся, но не был уверен в этом на все сто процентов; писателями, в конце концов, становились единицы из тех, кто отправлялся в это не легкое, никем не санкционированное плавание. Ведь воды вокруг такого пловца спокойствием обычно не славились.

То, как я писал, скоро оказалось приемлемым для республиканской газеты «Правда Востока», весьма авторитетной, и она пригласила меня в ряды своих корреспондентов. Мне тогда исполнилось двадцать девять лет, и мой жизненный опыт, поначалу очень зеленый, стал утрачивать юношескую наивность и окрашиваться в тона зрелости. Его сердцевина, однако, оставалась советской и партийной. Иной она и не могла быть; победа Советского Союза в Великой отечественной войне подняла авторитет первой в мире страны социализма на большую высоту. Школа, институт и, главное, сама жизнь научили нас любить свою страну и ее общественный строй. Это позже будут приоткрыты некоторые тайны недавней истории, окрашенные в цвет крови, и станет ясно, что жизнь миллионов была лишь разменной монетой, позволившей вождю народов утвердить свою волю и объявить всему свету, что социализм на одной шестой части суши победил отныне и окончательно. Еще несколько позже история опровергнет это утверждение вождя, как преждевременное и шапкозакидательское, и почти никто в советской стране этому опровержению не воспротивится. Но достаточно обобщений на всегда актуальную тему о том, что было и что стало: я пишу не аналитическую статью о конечном торжестве правды белых над правдой красных.

С великой радостью я поменял инженерную профессию на репортерство. Но и в новых условиях, пообвыкнув и осознав, что и здесь я могу и умею, я продолжал лепить большие вещи, газете не предназначенные. Они ждали своего часа, я знал, что час этот пробьет, и не проявлял особой настойчивости, подталкиваемой нетерпением. Сначала журнал «Звезда Востока», потом и ташкентские издательства опубликовали мои молодежные повести, и я обрадовался: лед тронулся. В газете я вообще стал своим парнем, коллеги и редакторы меня даже по головке поглаживали. Но мне всегда хотелось развернуться пошире.

После «Правды Востока» меня ждала партийная работа. Она снова сузила мне рамки самовыражения, но зато мне повезло увидеть партию изнутри, и это позволило задать себе вопрос: а есть ли у партии будущее? Я не ответил на него ни утвердительно, ни отрицательно. Я очень засомневался, что власть партии продолжится долго. Тождественность партийных функционеров с винтиками огромного механизма мне была очень не по душе. Далее, и совсем неожиданно я получил в свое распоряжение журнал, ту самую «Звезду Востока», в которой в 1965 году опубликовал свой первый рассказ. Было мне уже сорок восемь, и более пяти лет я этим журналом руководил, доведя его тираж до 212 тысяч экземпляров. Ни один другой периферийный литературно-художественный журнал в стране таким тиражом не выходил, причем до девяноста процентов тиража распространялось в России. Своей командой я был доволен. Мы провели анкетирование и узнали, что российской глубинке, в основном читавшей наш журнал, очень нравилась жизнь, которая была рядом, но на русскую совсем не походила.

Одна из моих книг вышла в Москве, а могло выйти и больше, но я не использовал свое служебное положение в личных целях. Это был пик. Началась горбачевская перестройка, и демократия, едва выйдя из пеленок, погасила в обществе интерес к социализму и вообще к идеям Маркса и Ленина. Потому что жизнь быстрее шла к новым высотам по дорогам, которые поднимали на щит индивидуальное начало и частную собственность. Начался поворот к рынку – стихийный, никем заранее не просчитанный. Я позволил себе участвовать в общественном движении с названием Интерсоюз, главной целью которого была защита прав русскоязычного населения от произвола новоявленных господ-националистов, которые вдруг как по команде затыкали с каждого перекрестка и из каждой подворотни. Интересно, что движение не имело ни малейшей антиузбекской направленности, а только антинационалистическую. И когда я выдвинул лозунг «Русский, живущий в Узбекистане, не может быть счастлив без того, чтобы не был счастлив узбек», члены Интерсоюза поддержали его единодушно.

Я хотел увидеть, как люди сильные и целеустремленные, жаждущие власти, используют механизм партии, чтобы выдвинуться на ведущие роли в общественной жизни. Свое желание я удовлетворил, но это стоило мне должности (Интерсоюз существовал при журнале, его штаб собирался и заседал в моем кабинете, и неприятие Интерсоюза властями было естественно перенесено на меня, как одного из его организаторов, со всеми вытекающими отсюда последствиями). В последний день 1990 года я сдал дела новому главному редактору, и началась совсем другая жизнь. В том смысле другая, что я сразу стал никем и ничем. Вроде бы, все мое осталось при мне, но сам я стал как бы ниже ростом. А очень скоро не стало и великой страны, и каждая национальная республика торжественно объявила, что берет свою судьбу в собственные руки. Пространство, управляемое из Москвы, после упразднения Варшавского договора сократилось до размеров СССР, а после распада последнего и вовсе скукожилось до размеров Российской Федерации. По моему глубокому убеждению, однако, России это должно было пойти во благо.

И сразу тишина накатилась великая, очень похожая на предутреннюю. Не надо было читать рукописи и отбирать для публикации лучшие из них. Не надо было направлять действия сотрудников, разговаривать с авторами, приваживать их к журналу или отваживать от него, в зависимости от способностей. Не надо было ехать на работу, ибо у меня ее уже не было. А неразбериха в стране нарастала со скоростью цунами: демократия путалась со вседозволенностью, рубль падал стремительно и неудержимо, военное производство приостановилось почти полностью, а гражданское сократилось чуть ли не наполовину. Товарный голод обострился необыкновенно, и огромное большинство населения покупало только продукты питания, и то самые дешевые. Военными грозowymi годами повеяло, когда ценнее хлеба не было ничего. Дети наши, слава Богу, выросли, и перед ними открылся простор собственной жизни, где все зависело от их способностей и их инициативы. И они стали свои способности проявлять.

Я не то чтобы растерялся, но мне вдруг стало очень не по себе. Я остро почувствовал, что такое не востребованность. Я мог и умел, и вчера это котировалось высоко и поощрялось разными знаками внимания, а сегодня совсем не котировалось, словно я в момент превратился в ноль без палочки, в отработанный материал, годящийся разве что на то, чтобы его оттранспортировали на свалку. Быть судном, выброшенным на мель, конечно, малоинтересно. Никто не звонил мне, никуда не звал, ничего не предлагал. Никто мною не интересовался. Для всех я стал персоной нон грата, ибо недовольство моим поведением было высказано на самом верху и тотчас принято к сведению должностными лицами, с которыми я обычно общался. Друзьями из числа этих лиц я, понятное дело, не обзавелся, не годились они в друзья.

Друзья, раз уж зашла о них речь – что друзья? Они от меня не отвернулись, но их осталось до обидного мало. Своя жизнь занимала их куда больше, и мы встречались не часто. Жаловаться на судьбу было себе дороже, и я делал вид, что воспринимаю случившееся, как должное. Я воспитывал в себе стойка. И снова, как треть века назад, я начал складывать написанное в стол. С раннего утра я работал часа три-четыре за письменным столом, а затем уходил куда-нибудь, стараясь, чтобы вокруг была природа, деревья и вода – в парк, обрамлявший Комсомольское озеро, на берег канала Анхор. Или уезжал на дачу. Своя земля оведала меня дымком живого огонька, зажженного в очаге, запахами плодов и листьев, подпитывала жизненными соками и, значит, продолжала любить. Работа на своей земле никогда не кончалась и никогда не была в тягость.

Где-нибудь в августе, в сентябре я вдруг срывался, снаряжал рюкзак, ехал в Бурчмуллу, а там становился на свою любимую тропу и шел вдоль реки Коксу, удивительно прекрасной, вдоль реки Ак-Булак, прекрасной несколько по-другому, вдоль реки Чаткал, неповторимой и удивительной, как все в наших горах. Я сидел вечерами у яркого костра, расстилал рядом спальный мешок, забирался в него, устремлял взгляд в звездное небо, в котором витийствовали иные миры, не дававшие мне покоя, и говорил себе, что ничего страшного не произошло и испытания посылаются нам для того, чтобы мы учились их преодолевать, становились лучше и выше самих себя. В горах всегда было необыкновенно хорошо. Но возвращение в обыденность бытия следовало с неизбежностью, исключений не допускающей. И я с новой силой ощущал, что я изгой. Я мог, конечно, рассчитывать на светлые времена, но их приход почему-то задерживался, а я со своей стороны ничего не делал для того, чтобы он ускорился.

В эти годы с лучшей стороны показала себя моря супруга Валерия. Она ушла из комитета по делам полиграфии и книгоиздательства, рутинная обстановка в котором сильно ее угнетала, и с головой окунулась в предпринимательство, не так давно разрешенное официально. Фирму она создала и возглавила, близ педагогического института сняла офис в подвале жилого дома, обзавелась сотрудниками, и у нее все стало получаться. Она всем показывала, а прежде всего самой себе, что индивидуальное начало в человеке надо уважать. И если прежде главной опорой семьи был я, то теперь эта опора естественно переместилась на ее плечи. Я увидел, что ей нравится вести свое дело, и не стал претендовать на ведущую в нем роль, а ограничил себя функциями помощника. Опять же, это далось мне без малейшего над собой принуждения.

В моем представлении никакая нужная людям работа не была зазорной. В моем представлении зазорно было претендовать на большее, чем ты умеешь и можешь. Помогая Валерии по мелочам, одновременно я пробавлялся разными случайными приработками, почти всегда кратковременными – помогал институту Востоковедения выпускать мало кому известный журнал, что-то редактировал одному частному издательству,

изредка что-то делал для «Правды Востока», а в бывшем своем журнале не появлялся, чтобы не смущать нового главного редактора поэта Сабита Мадалиева и не смущаться самому. Месяца два я потратил на то, чтобы государственный комитет охраны природы, министерство здравоохранения и академия наук республики начали издавать газету «Природа Узбекистана» (вскоре выяснится, что у этих уважаемых организаций денег на ее выпуск нет, и она умрет естественной смертью).

Вдруг на горизонте возник мой бывший коллега по Центральному Комитету Компартии Узбекистана Саидакбар Ризаев, тоже ударившийся в предпринимательство. Ему (он стал доктором исторических наук) заказывали книги о больших заводах – о Навоийском горно-металлургическом комбинате, например, или мемуары, и я ему все это писал или перекладывал с канцелярского языка на нормальный. Все это я делал за смехотворно низкую плату. Ризаев славно на мне наваривался, это было у него в крови. Лишь один раз я получил за мемуары нормальную плату – тысячу долларов. Их автором был известный в Узбекистане человек академик Зиядуллаев, который более четверти века руководил Госпланом республики и еще пятнадцать лет – Советом по развитию производительных сил Узбекской ССР. Но и тут конечная планка неожиданно была опущена на пятьсот долларов, ведь договаривались мы, что работа будет стоить полторы тысячи. К сожалению, неверность слову в таких случаях узбеки позволяли себе сплошь и рядом.

Вскоре разыскал меня Виктор Абрамович Духовный, матерый гидротехник, некогда руководивший освоением Голодной степи, затем возглавлявший Среднеазиатский научно-исследовательский институт ирригации и исполнительный комитет Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (она делила воды Сырдарьи и Амударьи между пятью центральноазиатскими государствами). Это был человек и очень сведущий, и крайне амбициозный. Амбициозность отнюдь не выпирала из него, но подпитывала собою все его начинания и поступки. Он предложил мне сотрудничество, и я стал, тоже за весьма умеренную плату, редактировать ему сборники, напичканные переводами с английского. Увы, переводы эти были чрезвычайно низкого качества. Но когда я переписал ему мемуары, потянувшие на 700 страниц машинописи (а ему было что вспомнить, и делал это он с удовольствием), он заплатил мне вполне прилично, хотя и в два раза меньше, чем полагалось по старым советским меркам, не таким уж высоким.

Турист один вдруг пожелал иметь со мной дело, директор преуспевающей фирмы «Сайрам-туризм». Звали его Рустам Мирзаев. В свое время он окончил факультет журналистики Московского университета (от поля, от сохи в это элитное учебное заведение люди не попадали), и была у него сокровенная мечта написать докторскую диссертацию о Великом шелковом пути (диссертацию кандидатскую он уже защитил). Три «негра» пыхтели над его монографией – писатели Анатолий Ершов, Игорь Рогов и я. С Ершовым я работал в «Звезде Востока», а с Роговым – и в «Звезде Востока», и в «Правде Востока», и ставил его, как прозаика и публициста, высоко. Диссертация была сотворена в сжатые сроки и на соответствующем уровне, и тотчас издана в Москве, а вскоре и защищена. Москва всегда любила и жаловала соискателей на всевозможные научные и прочие степени, пробивных, а, главное, денежных, состоятельных и щедрых. У Мирзаева я зарабатывал неплохо, иногда и двести долларов в месяц. Но как только монография была подготовлена, наше сотрудничество приостановилось.

Зато я получил массу сведений о Великом шелковом пути, который существует, оказывается, более двух тысячелетий, готовый сегодня, как никогда, содействовать соединению двух совершенно разных миров, Запада и Востока, в единое человечество. Удивительно, что еще Александр Македонский ничего не знал о Китае: мир, в его представлении, оканчивался в Индии. То есть, он мог простирается и дальше, но как никому не ведомое пространство. Великий шелковый путь открыл Европе Китай, а Китаю – Европу, и произошло это уже после смерти Александра.

«Век живи, век учись!» – сказал я себе по этому поводу. Погружение в геополитику было поучительным, сегодняшнее сотрудничество многих стран на шелковом пути, подвергаемом коренной реконструкции, включало в себя и преодоление большого числа острых углов и рифов. Здесь, увы, желаемое очень часто выдавалось за действительное, ибо местные удельные князьки договаривались о сотрудничестве долго и тяжело, не умея видеть и мыслить далее собственных границ и собственного кармана.

Между тем, в середине девяностых годов Валерии удалось развернуться – на сотрудничестве с одним большим банком и лакокрасочным заводом. Банку она миллионами штамповала картонные наклейки (между ними помещается тысяча ассигнаций), а заводу печатала этикетки удивительной красоты. Начинала же она совсем скромно, с книжной продукции – с брошюр «Диета монастыря Шаолинь», «Анекдоты без бороды», «Третье тысячелетие» (магический прогноз экстрасенса Евгения Березикова) и романа «Великий Тимур» того же Березикова. Эти книги помогли ей продержаться на плаву года два-три, она и в Москву их возила, и по российским областям распространяла десятками тысяч, пока это можно было делать. Наладив же взаимовыгодные отношения с банком и заводом, к книгам она уже не возвращалась, посчитала их издание делом хлопотным и, главное, бесприбыльным. Спрос на книжную продукцию действительно падал катастрофически.

Еще она выпускала кожаные удостоверения, иногда партиями в сто штук, а иногда и в тысячу. Я помогал ей, как только в этом возникала надобность: грузил и разгружал, отвозил и привозил, клеил и ламинировал удостоверения. Я ничего не чурался. Все это надо было делать, и я ни разу не сказал себе, что это не мое дело. Я даже не подумал так. Постепенно вокруг Валерии сосредоточилось слишком много пиваков. Сначала пивачки

всех мастей, в том числе и из ее «сплоченного» коллектива, ополовинили ее доходы, а потом уменьшили ее долю еще и еще. И когда она увидела, что на яблоньке, выращиваемой ею, ей самой из ста яблок остается всего с десяток, а ухаживает за яблонькой она практически одна, она воскликнула: «Все, я больше не хочу работать на чужого дядю, я закрываюсь!» И закрыла свою фирму; пиявки ее одолели. Очевидно, просчитать вариант, что с закрытием фирмы Валерии и пиявки останутся без подпитки, этим тварям было не под силу – своего аппетита они так и не умерили. Оставив их ни с чем, она хоть от этого получила удовольствие.

Слава Богу, к этому времени наши дети Елена и Петр уже прочно стояли на ногах и могли нам помогать. И все же все это, включая работу у Валерии, занимало лишь малую толику моего времени. И по утрам я регулярно работал только на себя, то есть писал и складывал написанное в стол. Хотя отдушины иногда появлялись, к публикации своих вещей я относился без прежнего воодушевления. Сабит Мадалиев, сменивший меня на посту главного редактора «Звезды Востока», через пять лет был в свою очередь смещен за нрав ершистый и независимый: управлять им оказалось чрезвычайно трудно. На каждое замечание в свой адрес он ссылался на конституцию, утверждавшую, что в Республике Узбекистан нет цензуры, и на этом основании отвергал вмешательство в дела журнала. Согласиться с таким положением вещей наверху, естественно, не могли.

Сабит делал упор на московских авторов и мировые литературные знаменитости, но авторитета журналу это почему-то не прибавило. Я не принес ему для публикации ни одной своей вещи. Но точки соприкосновения у нас были, и мне нравились его самонадеянность и его целеустремленность. После Сабита на эту должность заступил детский поэт Николай Красильников, прагматик, охотник и рыбак, звезд с неба не хватавший никогда. Сомнений, что проблем с ним не возникнет, наверху не было. Приходу Красильникова в журнал предшествовала разгромная статья в газете «Правда Востока», им написанная – он развенчивал Сабита Мадалиева и обвинял его во многих смертных грехах. Очевидно, Сабит не публиковал его из принципиальных соображений, и Коля этого ему не простил. Я не читал этой статьи, но сам факт ее появления меня покорило.

Я опубликовал у Красильникова рассказы «Зеленоглазая», «Брак по объявлению», «Чемпион Фороса», «Обтрясти чужое дерево». Эти рассказы мне нравились, особенно первый – о хлопковой студенческой жизни, к концу сезона невыразимо тоскливой. Но наше знакомство шапочным и осталось. Когда Красильников, устав от безденежья, устремил свои стопы в Россию, его сменил прозаик Сухроб Мухамедов. Он вырос на Кашгарке (до землетрясения 1966 года существовал такой еврейско-русский район в центре Ташкента) в семье, близкой к актерскому миру, и богема стала важной частью его характера и его образа жизни. Всех перипетий его жизненного пути я не знаю, однако к преклонным годам он остался один-одинешенек, но с хорошими связями, обеспечивавшими ему поддержку. В своем журнале он публиковал себя и немного других.

Я напечатал у него маленькую повесть «Один», в центре которой был Светослав Благов, журналист с редким даром слова и с судьбой трагической, как черная дыра. Его судьба стала прямым следствием одиночества, так им любимого. Еще я напечатал у него половину повести «Слепок» (на вторую половину тотчас был наложен запрет). В повести подробно прослеживалась судьба Интерсоюза, и наверху это не понравилось (я по наивности почему-то подумал, что за давностью лет претензий ко мне, как к автору, за эту тематику не будет, и такого же мнения был Сухроб; но оба мы просчитались). Окрик последовал незамедлительно; Сухроб, конечно, окрику внял, подчинился.

К Сухробу и Жене Садыкову, бессменному ответственному секретарю журнала и человеку очень ответственному и деликатному, я иногда приходил к концу рабочего дня, и мы славно сидели, поглощая водочку в количестве одной-двух бутылок под нехитрую закуску, под простой житейский разговор, который острых тем не касался по причине невозможности на них повлиять. К Сухробу я относился хуже, чем к Сабиту, но лучше, чем к Коле Красильникову. Сабит из этой троицы был человеком самым ищущим, и одно то, что он искренне любил свою страну и страстно, всеми фибрами души желал ей успехов и процветания, но на других, а не на избранных ею путях, резко возвышало его над прочими деятелями культуры, наиболее любимым занятием которых было аплодировать самим себе. Наверное, они поступали правильно, так как больше им никто не аплодировал.

После развала Союза журнал резко упал и сейчас выходил половинным форматом, раз в три месяца и тиражом всего в тысячу экземпляров. Вину за это катастрофическое падение я не возлагал ни на Мадалиева, ни на Красильникова, ни на Мухамедова, а только на время, безжалостное к литературе и писателям. Все то, что я опубликовал в последнее время в журнале и газетах, практически не принесло мне гонорара. И книги теперь я мог издавать только за свой счет, ведь спрос на книжную продукцию сократился в сотни, нет, в тысячу раз. Букинистические магазины были полны сочинений классиков и не классиков, которые шли за бесценок.

Союз писателей официально еще существовал, но ничего не значил и никому не помогал, ни начинающим авторам, ни маститым своим членам. Во второй половине 2005 года «Звезда Востока» и вовсе перестала выходить, за отсутствием денег. Уволились все сотрудники журнала, даже бессменный Евгений Садыков, отдавший работе в редакции тридцать лет (про него говорили, что редакторы приходят и уходят, а Садыков остается). Значит, государство такое положение вещей устраивало, иначе оно бы изыскало возможности профинансировать журнал. Симптоматично, что точно такой же медленной смертью умирал собрат «Звезды Востока» – узбекский литературно-художественный журнал «Шарк Юлдузи». Отношение к нему со стороны правительства было такое же.

И еще одну отдушину нашел я для себя – еженедельную газету «Зеркало». За два года она опубликовала восемнадцать моих рассказов, в том числе три про отца – «Вставай, страна огромная», «Крепость Бреслау» и «Ну, что, пижон, сыграем?» Под видом рассказов прошли и два эссе, о моей родословной, до обидного короткой (Боже мой, каким я был нелюбознательным, когда родителей можно было подробно расспросить об их родителях и далее, далее, а теперь и спросить не у кого!), и о мироздании, имеющем свойство расширяться по мере его постижения.

Потворствовал мне в этом журналист с ярким аналитическим даром и главный редактор газеты Михаил Юрьевич Егоров. А вывела меня на него подруга Валерии Юлана Сергеевна, полиграфист. После ухода из журнала я написал несколько крупных вещей – повести «Слепок», «Поток жизни», «Тишина», романы «Каждому свое» и «Мания величия». На последний роман я возлагал большие надежды. Он был необычен, со многими изюминками. Фантастика и приключения счастливо соседствовали в нем с реалиями наших дней и с философией о смысле жизни.

Я дал почитать роман Юлане, она всколыхнулась и сама предложила его «Зеркалу». Егоров, однако, сначала попросил меня принести вещи маленькие, чтобы напомнить читателям об авторе, ими совсем позабытом. И мои рассказы стали выходить один за другим. Для меня это была приятная неожиданность. Я стал приходить в «Зеркало» со своим вином. Мне нравилось вновь увидеть разбитной журналистский люд мужского и женского пола при любимом деле, за которое, правда, сейчас платили совсем ничего (раза в три меньше, чем в советское время). Затем мы с Егоровым нашли симпатичный подвальчик на улице Навои и стали в нем обособляться по пятницам, ближе к вечеру. Эта отдушина очень меня привлекала.

Егоров не был большим говоруном, ему импонировала и роль слушателя. К концу посиделок он вбирал в себя норму, примерно равную бутылку, умиротворялся, уходил от проблем, которые ему так надоедали в течение недели, его морщины сглаживались, улыбка преображала его лицо, и мы отправлялись домой, довольные друг другом, причем по нему не было видно, что он в подпитии. Он умело балансировал на грани того, что давать можно – в смысле аналитики, а что нельзя. Он два года подступал к «Мании величия», а потом сказал, что вещь эта для его газеты великовата, и попросил принести что-нибудь поменьше. И я дал ему «Садистов» и «Оранжевое лето» - на выбор. На какой из этих вещей он остановится, я пока не знал. Я хотел, чтобы он остановился на «Мании величия», но этого, увы, не случилось. Этой вещи просто не везло.

Я подумал, что за нее ухватятся московские издательства. Я очень надеялся на это. Будучи в Москве весной 2005 года, я предложил роман многим издательствам, но ни одно из них его не взяло. Со мной говорили уклончиво и не по существу. На меня взирали так, словно я обратился не по адресу. Мол, это не их тематика, нужна раскрутка, то есть реклама. До моего сведения вкрадчиво так доводили, что сейчас в ходу одна развлекательная литература, чужие проблемы давно никого не интересуют. Ибо у каждого своих проблем под завязку, и решаются они отнюдь не с помощью художественной литературы.

Вот этого, что меня так дружно повернут от московских ворот, я совсем не ожидал. Неожиданность это была, как удар под дыхало. А на что я рассчитывал? Я ничего не сделал на потребу новому читателю, я его просто игнорировал. А московские издательства, знающие своего читателя, как облупленного, в свою очередь дружно проигнорировали меня. И еще вслед посмотрели с подначкой: ходят тут всякие, от трудов праведных отвлекают! И я вынужден был сделать шаг назад.

Грусть накатила великая. Невостребованность из факта полуабстрактного превратилась в состояние души, и это было надолго. Я замкнулся, но писать не перестал; правда, любопытные сюжеты приходили ко мне все реже и реже. Я всегда плохо придумывал сюжеты, и потому в моих вещах торжествовала правда жизни: чем больше во мне скапливалось жизненного опыта, тем они становились лучше. Только в «Мании величия» я позволил себе широко растечься мыслью по воздушному океану, но это пока мало кто оценил.

Валерия подступала ко мне чуть ли не ежедневно: «Давай издадим «Манию величия» за свои деньги!» Но это меня пока не устраивало. Я по-прежнему считал, что этот роман обладает достоинствами, которые в состоянии сделать богатым и меня, и моего издателя. Но душу эта надежда почему-то не согревала. Эфемерна она была, а огня, точно, в ней не было; реалии нового мира, плотно нас окружающие, ничем ее не подкрепляли. Никто, помимо Егорова, ничего у меня не просил; мною, как писателем, не интересовались. Правда, в «Зеркале» я быстро стал самым читаемым автором. Родная газета «Правда Востока», которой я отдал двенадцать лет, не вспоминала про меня годами. А сам я, по своей инициативе, переступал ее порог крайне редко, там давно работали новые, от меня далекие люди. Там всем и каждому надо было объяснять, кто я такой и чего мне надо. Писать я не прекращал, но мне оставалось складывать написанное в стол, что я и делал аккуратно.

2005 год

Гена Козлов и Валя Хадиков, милые мои однокашники, шли ко мне по переулку от дома Валентина. Шли, жестикулировали, и один из них заводил другого. А вот кто кого заводил, я не понял. Скорее всего, Валентин – его непосредственность часто не знала границ. Я увидел их в окно, смотревшее на этот переулок, на середине пути, встрепенулся и побежал на улицу. «Мы идем купаться!» – на бегу оповестил я тетю Сашу, которая что-то готовила на примусе, – его венчала громоздкая кастрюля. Примус гудел, в дно кастрюли ударялось синее жаркое пламя. Над кастрюлей уже вился вкусный парок.

- Не опоздай к обеду! – напутствовала меня тетя. Но я уже скрылся за дверью. Я ничего не обещал. Не опоздать к обеду, конечно же, было хорошо, но это как получится. В каникулы на первом месте была свобода, потом уже все остальное.

Двадцать быстрых шагов, и двор позади. Восемь квартир в нашем доме дореволюционной еще постройки, восемь семей, и ни одна не повторяет другую. Наша семья самая большая – восемь человек. Но и квартира у нас самая большая, угловая – две просторных комнаты и прихожая-закуток. В прихожей и гудит примус. Поворот, еще десять шагов, и я за воротами. Ворота у нас высокие, красные, деревянные, и мы часто используем их, как футбольные. Валентин занимает место голкипера, а мы бьем ему с разбега, и одни мячи он берет, а некоторые не берет, ведь мы лупим с близкого расстояния. Мячи, что он не берет, громко бацают о ворота, и это не нравится тем жильцам, которые уважают тишину. Этой весной Валентин начал играть за детскую футбольную команду спортивного общества «Локомотив», и мы ходим на все матчи «Локомотива», стадион-то недалеко, за Тезиковым базаром. Валька очень азартен, и его команда азартна и проигрывает редко, потому что все в ней стараются. Мы всегда за него переживаем.

Я подхожу к друзьям и церемонно их приветствую, а они столь же церемонно приветствуют меня. Мы в трусах и босиком, но это нас ничуть не смущает. В нашем районе все пацаны летом ходят в трусах, даже восьмиклассники Борис и Кастусь. А они на голову выше нас. Брюки и рубашки мы надеваем вечером, когда идем в парк, в летнее кино. Туда уже в трусах не заявишься, это мы понимаем: общество там собирается, и все такое. Там и нам полагается быть на высоте. А на улице летом зачем нам брюки, сандалии? Совершенно ни к чему. И рубашки ни к чему, и майки лишние. Вот девочки нашего возраста уже надевают платья или блузки с юбочками, потому что груди у них не как у нас, и их положено прикрывать. Их груди предназначены, чтобы потом деток маленьких кормить, а наши груди ни для чего не предназначены.

Валентин хитро улыбается. И Гена, он у нас самый рослый – хитро улыбается. Значит, придумали что-нибудь военное. Сейчас выложат! И Валентин, он среди нас самый нетерпеливый, выкладывает свою задумку. «Давайте поплывем по Салару!» – говорит он и смотрит на меня так, словно утаил главное. Он у нас романтик, а вот Гена твердо, двумя ногами стоит на земле, на родимой.

- Давайте! – сразу соглашаюсь я. Экая невидаль – путешествие по Салару! А плаваю я лучше их обоих. Это, правда, единственное, что у меня получается лучше, не считая игры в шахматы и учебы.

- Не от Качайчика! – поясняет Валентин. Качай-мостик перекинут через Салар близ нашей школы, и мы проходим по нему, наверное, шестьсот раз в год. Значит, за шесть лет учебы мы прошли по нему 3600 раз. Он чисто пешеходный, легкий и качается, когда по нему идет группа в два и больше человек. Отсюда и название.

- А откуда же мы поплывем? – спрашиваю я. У Качай-мостика все заводины, все перекаты обжиты нами. У одной заводины, самой большой, против обрыва, на котором возвышается школа, мы даже построили трамплин из глины и булыжника и ныряем с него с разбега. Ай, хорошо, кто понимает!

- От Нефтесиндиката до Тезикова базара! – выпаливает Валентин. Ого! Вот это задумка! Так далеко мы еще не плавали. Качай-мостик будет как раз посередине этого маршрута. От Качайчика до Тезиковки мы плавали раза два, а на большее не отваживались. От Нефтесиндиката до Тезиковки будет вдвое дальше. Или втрое дальше? Нет, вдвое.

- А не замерзнем? – спрашиваю я, и ежусь заранее. Вода в Саларе никогда не бывает особенно теплой. Это вам не Комсомольское озеро с водой стоячей, зеленоватой, которая только и делает, что вбирает в себя солнечное тепло.

- Кто? Мы замерзнем? – удивляется Гена. – Мы не мерзляки какие-нибудь.

Его отец погиб во второй год войны, и он привык жить без отца, на попечении деда и бабки, людей необыкновенно добрых, заботливых. А отец Валентина, летчик, умер вскоре после войны, от гнойного плеврита легких, с которым ничего не смогло поделывать новейшее оружие медицины – пенициллин. Его сбили над Черным морем осенью 1944 года, и он долго пробыл в воде и застудил легкие. У одного меня был живой отец, и я гордился им, а Гена и Валя гордились своими отцами. А все вместе мы гордились своей страной, которая победила фашистов (мы пошли в школу как раз в год победы). Войну я помнил очень хорошо – мать переживала

за отца, мать превращалась в тугую пружину, когда от него долго не было писем. Чувство тревоги не покидало ее лицо, наверное, никогда. А нам, детям, постоянно хотелось есть. Еще я запомнил, что мы, дети, были вещами особенно дорогими, и взрослые старались сохранить нас во что бы то ни стало.

Мы пошли к трамвайной остановке Нефтесиндикат. В этом месте трамвай, идущий от Госпитального базара, останавливался у моста через Салар, а далее пути раздваивались, и маршрут № 8 поворачивал к вокзалу, а маршрут № 10 нырял под железнодорожную насыпь и поворачивал направо, к Тезикову базару. Две большие емкости для нефти или мазута возвышались рядом с железнодорожными путями – они и дали остановке название «Нефтесиндикат». Емкости были, наверное, на три-четыре тысячи кубометров каждая. Стальные листы в них были соединены друг с другом ровными рядами заклепок.

Идем, резвимся, о чем-то лопочем. Наша улица Буденного, ведущая к вокзалу, на всем протяжении одноэтажная, да и весь район одноэтажный. Он застроен в основном домиками на одну семью. Их так и называют домами индивидуальной застройки. Только наш дом и еще несколько – жахтовский, многоквартирный, и когда соседи начинают предъявлять претензии друг к другу, скучно не бывает. В своем доме и на своей земле жить, конечно, приятнее, это я уже понимал. При своем доме и двор свой, с яблонями, орешинами, виноградными лозами. Как у Генкиного деда. Улица еще не заасфальтирована, в нашем районе асфальт пока роскошь, и тротуары не заасфальтированы, а вымощены кирпичом. И водопровод к нам еще не пришел, воду мы достаем из колодца. Опустил вниз ведро пустое, повертел ворот, поднял ведро полное, вот и все дела. Утопил ведро, – вылавливай его специальной кошкой, корячься.

Мы идем и смеемся. Кому-то привезли машину саксаула, и два подростка перетаскивают сухие коряги в сарай. Кто-то лепит кирпичи из глины, расширяет свои апартаменты – вон их сколько, желтопузиков, греется на солнце! Телега проскрипела с железной бочкой. Возчик приложил к губам мегафон и орет: «Керосин! Керосин!» И женщины выходят с бидонами, озираются и идут за телегой. А мы примечаем все это. Нам-то что, но мы примечаем. Мимо магазина мы прошли. За хлебом уже никто не стоит, как прежде, хлебушка теперь – всегда пожалуйста. А то какие были очереди! И час, и два стоишь, а до хлебушка все еще далеко. По деревянному мосту через Салар прошли, – наш Салар очень извилист. И мимо мельницы прошли – там быстроток, это надо будет учесть. И колесо на быстротоке. Какая старая мельница, серая от старости. Или она от мучной пыли серая?

У трамвайной остановки пивная, тоже людное место. Мы еще не пробовали пива и не знаем, какое оно. Не знаем, почему оно так хорошо пенится. А вино пробовали – после него кружилась голова. Баянист растягивает меха гармони, поет: «Ты жива еще, моя старушка...» Что-то прежде я этой песни не слышал. Прежде этот же гармонист пел «Темная ночь» и «Расцвели яблони и груши». Спускаемся к воде. Посмотрели на воду, и стало зябко. Вода зеленоватая, стремительная, и под ней угадывается гравелистое дно.

- Кто первый? Чур, не я! – кричит Гена, и лицо его отражает оторопь.

- Я первый! – говорит Валентин. Он на год младше меня, а я на год младше Гены. В состязаниях, самых разных, ему нравится быть первым. Он не упрашивает Геннадия первым ступить в воду, и Генке это не нравится. Вода принимает Валентина без всплеска. Мы кидаемся в Салар следом. А что – приятная вода! Холодная, но приятная. Она несет нас не быстро и не медленно, примерно со скоростью метр в секунду. А на перекатах – вдвое быстрее. Мельница надвигается справа. «Подальше от колеса!» – предостерегаю я. Быстроток надвигается, вода подхватывает нас и мчит, под ногами скользкий бетонный лоток. Р-раз, и промелькнула мельница. И сразу вода угомонилась. Можно плыть, распластавшись, а можно стоять в воде и касаться ногами скользкого дна. На перекатах вообще мелко, и надо беречь колени, подтягивать к животу, чтобы не зашибить о булыжник. Или распластаться на самой поверхности потока. А глубоких мест, с головкой, в Саларе вообще мало, они все наперечет.

Мы смещаемся вниз по течению и глазеем по сторонам. Эти берега мы видим впервые. Чем же они отличаются от берегов, уже нам знакомых? Мало чем отличаются. Домики неказистые и получше, рядом с ними во дворах яблони, орешины, виноград. Уборные придвинуты близко к воде, чтобы не обращаться к ассенизаторам. Ладно, это мы вытерпим. Одни дворы ухожены, вылизаны прямо, в них и цветы, и беседки, другие запущены, заросли травой, ежевикой. Многие держат коров, свиней, кур. Какое ни есть, а подспорье к скромным зарплатам кормильцев.

- Здорово, правда? – говорит Гена. И в это время вода рядом с его головой взбуряется высоким всплеском. Это ком сухой глины ударяется в нее. Нас обстреливают! Кто посмел? Враг не дремлет! Противник, нами невидимый, ведет беглый огонь из-за куста шиповника. Куст скрывает пацана, а мы на виду. Мы – мишени, и по нас можно стрелять, ничего не опасаясь. И в нас летят комки глины. Гальку и камни употреблять для этого нельзя, только глину. И пацаны это правило соблюдают. Мы ныряем, маневрируем, рассредоточиваемся, плывем быстрее. Оглядываемся, чтобы вовремя увильнуть от сухого комка. Мы не даем пацану-артиллеристу стрелять прицельно. И вот зона обстрела позади. Так кто это мог быть? Сие нам неизвестно. Мы пытаемся сориентироваться, а мимо проносятся уже другие берега.

- Так это Юрка Третьяков! – догадывается Валентин. Юра – парень задиристый и гоношистый. Ужасно не любит, когда ему наступают на ногу, взвизывает прямо. А на уроке (он учится в нашем классе) все время зудит, и учителя отсаживают его на последнюю парту. Зудила он прирожденный.

- Смотри, подстерег! – удивляется Гена. – Ого, а здесь глубоко!

Течение замедлилось, берега обступили деревья, закрыли солнце. Зябко, когда над тобою деревья. Одно дерево наклонилось совсем низко, вот-вот упадет. Сейчас будет наша заводина с трамплином. Вот она, милая, и без никого! Можно причалить и обсохнуть, погреться, а потом продолжить плавание, но Валентин к берегу не поворачивает. Ладно, нам тоже не надо больше всех. Плыть будем целую вечность, до самой Тезиковки! Сейчас левый берег возвысится, появится обрыв, в котором булыжник перемежается с галькой и песком, а над обрывом будет возвышаться наша школа. При школе стоят домики, и в одном из них живет Иван Васильевич Ребров, наш преподаватель физкультуры. И другие учителя живут там, но нам они пока не преподают. А Ребров целыми днями торчит на поле футбольном, и на поле волейбольном, и при своих гимнастических снарядах. Заядлый он очень. Ему с нами никогда не скучно.

Обрыв приближается и закрывает школу и домики. Еще два месяца нам сюда не ходить, это же замечательно! А потом закрутится старая карусель, с нудными заданиями на дом. После седьмого класса кто-то пойдет в техникум, а кто-то продолжит учебу. Это, как у кого дома. У кого достаток, тот будет иметь на прицеле институт, а у кого постоянные нехватки, тому быстрее надо становиться на ноги, самому зарабатывать. Гена говорил, что будет поступать в горный техникум, там стипендия высокая. Жалко, если он отъединится. А вот и Качай-мостик. На нем ни души, никто на нас не глазеет. Проносимся под ним, и он на мгновение накрывает нас своей тенью. Лужочек слева с коровой, уткнувшейся в траву. И снова домики неказистые и дворы. А неказистые домики потому, что их в войну ставили, спешно и из самого подручного материала. Тысячи семей приехали в Ташкент с запада, где полыхала война – где им жить? Устраивались, как могли. Лепили что-то на скорую руку, лишь бы крышу получить над головой. И вот эта лепнина оказалась вон какой долговечной! Стоит и стоит себе, никуда не девается.

Переулочек знакомый спустился к самой воде – это тот, в котором дом Валентина. И снова дворики плывут мимо. То есть, это мы плывем мимо них. И вдруг мы впиваемся глазами в прекрасные девичьи тела. Три девы лежат рядышком на мягкой травке, нежатся на солнышке почти без ничего, трусиков не видно, они слились с телами. Озорные глаза, косы и кудри, груди совсем открытые, притягательные, тонкие талии, упругие высокие попочки, сочные бедра. Кто это? Наверное, десятиклассницы. Увидели нас, проводили глазками, и ни одна не пошевелилась, не переменяла позы, не прикрылась ручкой хотя бы. А чего нас, мелюзгу, стесняться? Мы еще пионеры, а они – комсомолки. И спортсменки, наверное. Пусть мальчишки пялятся на их достоинства, не жалко. От них не убудет. «Вот чертовки, а? Вечером в парке их бы подцепить, а?» - выдохнул Геннадий, премного довольный столь откровенными девчатами. Возражений не последовало. Мы поплыли навстречу течению, чтобы продлить это зрелище. И скоро выдохлись. Нет, пусть водичка несет нас. И девочек прикрыла яблонька, потом заслонил забор. Как будто их и не было на зеленой лужаечке.

- Мать честная! – Генка снова причмокнул губами. – И, ведь, когда-нибудь каждый из нас приведет в свой дом такое сокровище. Назовет его счастьем и приведет.

- Ты будешь первый, - великодушно соглашается Валентин. Ему что, он самый младший из нас. – Ген, а, Ген? Ты бы какую из этой троицы выбрал?

- Которая в середине лежала, - определил Гена без заминки.

- Не-а! Которая в середине, она мне подмигнула, а я – ей, - засмеялся Валентин. – Получается, что ты опоздал. Бери другую!

- Ну тебя! Не в ту сторону ты зришь, не о том думаешь!

- То-то ты так сильно протестуешь. Ладно, покипи – нам теплее станет. Я, например, совсем замерз. Сейчас окочурюсь.

- Я тебе окочурюсь! Ручками поработай, ножками поработай – и разомнешься! Дрыгай, дрыгай ножками – поможет! А то ты больше языком двигаешь. От движения языком, сам знаешь, никакого согрева!

- Отец полдня провел в воде, которая была куда холоднее этой. И его легкие не выдержали.

Это мы помнили. Мы все провожали в последний путь отца Валентина.

Изгиб русла, поляна с одуванчиками веселыми, с маками, наверное, последними. Голое, незастроенное место. Бараны пасутся остриженные. И новые дворы. Когда же откроется Тезиковка? Холодно-то как! Прямо зима настоящая. Ногам холодно, и животу, и груди. Сейчас будет поворот, а за ним мост. А за мостом Тезиковка. Тут была дача богатея Тезикова, а теперь Тезиков базар. Когда-то город здесь кончался, и аэропорт построили за городом. А теперь город обтекает аэропорт и справа, и слева.

- Ура, мост! – оповещает Валентин. И плывет быстрее. Все мы плывем быстрее. Я напрягаюсь и опережаю ребят. Последний перед дорогой двор, впереди – опоры моста. Мы под него не поплывем, мы вылезем раньше. Бережок пологий, вода к нему песочек прибила. Мы выходим и дрожим мелкой дрожью. Кожа у нас пошла пупырышками и стала, как у гусей.

- Не стоять! – командует Геннадий. – Прыгаем: ать-два, ать-два! Воду из ушей выгоняем! Давай - давай – давай - давай! Трусы выжимаем по очереди! Один выжимает, а двое заслоняют его. Чур, я выжимаю трусы первый! Ну, составили живой забор, загородили меня! - Он заходит за нас, пригибается, стаскивает с себя трусы и выжимает на скорую руку. Ему все равно, видно ли его с близкого моста. На этот счет он никогда не

комплексует. Что естественно, то безобразно. Вслед за ним мы тоже проделываем эту процедуру. Ура, мы проплыли целых два километра! Ивану Васильевичу Реброву это очень даже понравилось бы. А если бы у нас была автомобильная камера? Плыть на камере – это шик. Это не хуже, чем плыть в лодке, а возни куда меньше. Это одно удовольствие. Черная камера горячая, когда на нее светит солнце, и лежать на ней одно удовольствие. А потом вышел из воды и покатил камеру перед собой, вот и все дела.

- Надо раздобыть камеру, и побольше, - предлагаю я.

- А где? – загорается Валентин. В его воображении камера уже приобрела очертания яхты с белоснежным парусом над ней.

- Что-нибудь придумаем, - говорит Гена. Ни в одном из нас нет коммерческой жилки, и иногда это нам мешает, но не часто. Мы не из тех, кто постоянно ловчит, что-то высматривает, выменивает, выгадывает на самых простых вещах. Это потому, что мы непритязательны. Война приучила нас довольствоваться малым, и этому правилу мы пока не изменяли.

- А теперь куда? – спрашивает Гена.

- Теперь бы мячик попинать, - говорит Валентин.

- Лапта лучше, - предлагаю я. Лапту я люблю больше футбола.

- Лапта – этот еще троих надо приискать, - говорит Валентин.

- А чего их искать? Увидят и сами прибегут! – говорит Гена.

И в этот момент мимо нас проходит Милочка Ванина. Она живет между Геной, мною и Валентином. На базар направляется. Наша ровесница. Красивая она – одни веснушки на розовых пухлых щечках чего стоят! Мы дружно ее приветствуем, а она приветствует нас.

- От Качайчика приплыли? - спрашивает она.

- Бери дальше – от Нефтесиндиката! – фасонит Гена.

- Ого! И не пригласили. Друзья, называется.

- Ты быстрее покупай, что надо, и давай с нами в лапту! Ждем!

- Лапта лаптой, а плавать я тоже люблю. Так что в следующий раз могу составить компанию!

Куда это она смотрит? Пялится прямо. На наши трусы мокрые смотрит, прилипшие к телу. Точнее, на Генкины трусы. Он самый старший, и то, что у него обтягивают трусы внизу живота, побольше, чем у нас. Внушительный такой шар. Вот это да! Постеснялась бы, а она смотрит.

- А вечером давайте в кино, - продолжает Милочка как ни в чем не бывало. – Гена, ты заходишь за мной, а мы заходим за остальными!

- И что будем смотреть? – интересуюсь я.

- Какая разница? Афиши я не видела, не знаю.

- А что ты сейчас видишь? – спрашивает Валентин и улыбается. Мила краснеет неудержимо, и взгляд ее, переведенный на Валентина, наливается укоризной. Если ты и увидел что-то, для других не предназначенное, не надо это выпячивать. Она не привыкла смущаться, но сейчас смутилась.

- Я побежала, в лапту без меня не начинайте! – предупреждает она.

И мы идем на тихую улицу перед ее домом, где лучше всего играть в лапту. Можно пойти и в школу, там большое поле, там еще лучше, но это далековато. Холод медленно отпускает. Я, конечно, забываю про наказ тети прийти на обед. Я прихожу вечером, чтобы переодеться для похода в парк. Заодно и ужинаю на скорую руку.

Подумать только – 55 лет прошло со дня этого заплыва! Как далеко, как давно это было! И Ташкент вокруг совершенно другой, и по Салару, заросшему камышом, течет воды раз в пять меньше, чем тогда. Но главное не это. Главное, что жизнь прожита, и по Салару уже не поплывешь. Разве что я могу пройти по улице Буденного, которая теперь называется по-другому, и увидеть дом, в котором вырос. Дом мой тоже состарился, порядком пооблез и стал ниже ростом. Совсем на ладан дышит мой дом. И нет уже ни Нефтесиндиката, ни Тезикова базара, его слизала новая автомобильная дорога. А школа наша также стоит на высоком берегу, и мы приходим в нее раз в год, в первую субботу мая. Мы – это выпускники 1955 года, точнее, то, что от нас осталось. Максимум это человек десять из двух параллельных классов, остальных неоглядное житейское море разбросало по далеким своим берегам. А над многими житейское море сомкнулось безжалостно, насовсем. Над Геной Козловым, убитым в России десять лет назад. Над Юрой Третьяковым, который умер от рака легких сорок лет назад. Он еще хвастался, что курил с третьего класса. Да, курил, и вот что в результате получилось. Кто-то из нас поднялся на одни высоты, кто-то – на другие. Свои высоты мы никогда не сопоставляли, в конце жизни это не имело значения.

О Милочке я давно ничего не слышал и не знал, как она и что она. Свой жизненный путь она не совместила ни с одним из нас, но никто от этого не пострадал, и она тоже. А Валентин Хадиков доживал свои дни в Подмоскowie, и рассеянный склероз быстро гасил ему рассудок. Эта болезнь была из тех недугов, которые не лечили. Она была, как приговор, от нее умерли его мать и сестра. Так что наш давний заплыв по Салару вспомнить он уже не мог, не дано было ему это. Он уже ни жену, ни деток своих не узнавал. И я понимал, что хуже этого прийти к человеку не может ничего.

ГОРЮЧИЕ СЛЕЗЫ

Рассказ

Сергей Татур

Мы давно не навещали нашего свекра Моисея Авдеевича Киянского, да и созванивались не часто – наверное, по той причине, что взаимная симпатия не была ни прочной, ни глубокой, и точек соприкосновения осталось не так уж много. Хотя прежде наши отношения были куда как притягательнее. И по этой же причине Моисей Авдеевич и его жена Клавочка давно не приезжали к нам. Клавдия была его вторая жена, милая, непосредственная и моложавая, и моя Глафира Петровна очень неплохо с ней контактировала, находила общий язык. Но с Моисеем Авдеевичем она с некоторых пор плохо контактировала – он не одобрял нашего согласия на переезд к дочери Лине, считал, что нам, как и ему, и здесь хорошо. А нам в славном городе Ташкенте становилось все более и более одиноко. И дети, и друзья наши давно уже покинули его, облюбовали кто российские, а кто и американские просторы.

А первая жена Киянского Варвара Ивановна уехала пятнадцать лет назад за океан и пила-сосала там кровушку в свое удовольствие у нашей доченьки Линочки. Ее сын Владимир, муж Линочки, ничего этого не замечал, то есть в его присутствии Варвара Ивановна была тише воды и ниже травы. И Лина терпела-терпела, а потом воспротивилась и отселила тещу. Великую непреклонность проявила, лик тигрицы показала, на Володины причитания «Как же так, как же так!» ответила, что терпеть истязания свекрови далее не намерена – и настояла-таки на своем. У них даже к разводу дело пошло, но Володя, увидев эту разверзающуюся пропасть, опомнился и сделал быстрый шаг назад. Понял, что Варвара Ивановна и Линочка несовместимы, а вот в причину того, почему несовместимы, вникнуть не посмел, все-таки речь шла об его матери. Иначе Лина бы много на что глаза ему открыла. Лина, как врач очень даже востребованный, с некоторых пор приносила в дом больше супруга-менеджера, но на своем настаивала не часто, а, настаивая, от своего уже не отступала.

Осознав, как она одинока в чужой стране, она, по совету моему и матери, решила завести еще одного ребенка, третьего. И когда Володя этому воспротивился, сказала: «Как хочешь, я и без тебя его подниму». Он просчитал последствия и согласился, и вскоре девочка Полина у них родилась. Она была на четыре года моложе своего братика Корнея и на восемь лет – сестры Светланы. С тех пор миновало четыре года, и в жизни супругов Киянских в далеком городе Нью-Йорке ничего плохого более не происходило, а только хорошее – мир и согласие восстановились в первоначальном объеме, а, возможно, и еще упрочились, стали выше ростом. И мы теперь не переживали за них, а радовались тому благоденствию, которое поселилось в их семье.

Первая супруга Моисея Авдеевича Киянского своей вопиющей недалекостью и внесла раздор и смуту в семью Линочки. Примитивная это была женщина и одиозная. Наверное, и в лучшие свои годы она не входила в число красавиц, но этого от нее и не требовалось, а требовалось лояльное отношение к снохе. Сын сделал выбор, ты его одобрила, гуляла-веселилась на его свадьбе, желала счастья, так будь добра делать все от тебя зависящее, чтобы молодым было хорошо. Но патологическая любовь к сыну и ревность к его избраннице взяли верх, ведь он никого теперь рядом с собой не замечал, одну Линочку, и Лина в глазах снохи стала всем плоха и всегда плоха.

Пятнадцать лет назад, сразу по переезде за океан, Лина, врач по профессии, должна была готовиться к экзаменам и сдавать их, чтобы подтвердить свой диплом врача, и работал один Владимир. Семья снимала тесную квартиру, Варвара Ивановна жила с ними. И как только за Володей закрывалась дверь, она выпускала свои острые коготки, скалила ротик и злой змеюкой накидывалась на Линочку: ты и дармоедка, и замухрышка кривоногая, и жаба подколотная. Упреки лились, как из рога изобилия, и были один занозистее другого. А при сыночке не произносила ни одного плохого слова. И дочь шла заниматься в парк или в библиотеку. Экзамены сдала, начала работать, но ничего в отношении к ней со стороны Варвары Ивановны не изменилось, разве что упрек в дармоедстве отпал, но был заменен на другой, не менее злой и колючий.

Дочь терпела, пока прочно не встала на ноги. Ее заработок вскоре превысил заработок мужа – она, как быстро выяснилось, была прекрасный диагностик, и больные шли к ней потоком. Ее звали Литл рашен доктор – Маленькая русская врач. Дом, и очень приличный, она и Володя взяли в рассрочку. И, к удивлению Володи, в этом домике о двенадцати комнатах не нашлось места для Варвары Ивановны. Дочь сжалась в тугую пружину и довела до сведения свекрови, что как ты, змеюка, ко мне, так и я к тебе, и не жить тебе в моем доме. Провела черту, за которую попросила ее не переступать. Владимир ничего не понял и взвился, объяснениям жены не внял и не поверил. И впервые споткнулся об ее непреклонность: нет, нет и нет! Он вынужден был смириться, для Варвары Ивановны сняли квартиру. На большие издержки пошла Линочка, ради своего душевного спокойствия. Ибо дом – это крепость, где положено отдыхать и набираться сил для работы, но никак не тратить их на выяснение отношений с нетерпимым человеком.

Варвара Ивановна, однако, настраивала сына против Лины и издалека, делала так, что его руки становились продолжением ее рук. Лина восстала против новой формы неуютя, сказала мужу, чтобы он определился: или с ней он останется, или с матерью. Он все понял только тогда, когда побывал у адвоката. Все потерять, да еще остаться вдали от детей было не для него, и тогда он впервые резко одернул мать и попросил ее одуматься, вести себя прилично и не вмешиваться в его жизнь. К этому времени Варвара Ивановна уже пила каждый день и редко когда просыхала. Но и этот второй от ворот поворот не вразумил ее, не сделал лучше. Глубочайшая вражда к снохе стала составной чертой ее натуры, и вытравить ее, свести на нет не было никакой возможности.

Это была данность, которую нам приходилось терпеть. Но если я, бывая у дочери, спокойно относился к редким встречам с Варварой Ивановной, то Глафира Петровна такой терпимостью не обладала и отвечала на ее упреки и укоры своими упреками и укорами, не менее острыми. За дочь любимую она вставала горой, промолчать и сделать шаг в сторону было выше ее сил. Она и сказала Лине: разведись, или пусть твой муженек поумнеет. Пусть увидит, какое сокровище он может потерять. И Володя, конечно, запомнил, что Глаша целиком была на стороне Лины и подвигала ее на действия решительные и бескомпромиссные. Между ним и Глафирой Петровной пролегал глубокий холодок. Причем, холодок – это еще мало сказано, это приглажено и завуалировано. Естественно, он не хотел присутствия Глафиры Петровны рядом и, значит, самого нашего переезда. И это передалось по цепочке – очень не хотел нашего переезда Моисей Авдеевич Киянский. Моисей Авдеевич, однако, упирал на другое, на бремя расходов. Расходы на наше содержание в Ташкенте и в Нью-Йорке могли разниться в пять, а то и в десять раз. Лине и Владимиру за их дом и офис придется расплачиваться еще лет двадцать, и это тоже была данность, от которой никуда не уйти.

Моисей Авдеевич уже не раз заводил об этом с нами разговор. Вот, дети еще и за дом не расплатились, и за офис свой – Лина теперь работала отдельно от своего прежнего работодателя, то есть сама на себя, а выплата по медицинским страховкам была признана очень высокой и сильно уменьшена, и врачи стали зарабатывать меньше. Лина теперь принимала больше пациентов, чтобы не потерять в заработке, и очень уставала. Еще он говорил, что внуки быстро взрослеют и в нашем присутствии, в нашем напутственном слове и догляде не нуждаются. Мы же, согласившись на переезд, хотели помочь дочери и, конечно, принять участие в воспитании внуков, каждого из которых Глаша называла «Солнышко ты мое!»

Глафире Петровне несогласие Киянского на наш переезд западало в душу гораздо глубже, чем мне, и она сильно переживала и потом долго приходила в себя. Сомнения то брали ее в плотное кольцо, то отступали, но недалеко; мне ее метания не нравились – они не только бередили ей душу, но и обостряли язвенную болезнь. Заиклившись на одном и том же, она теряла сон и начинала походить на сомнабулу, разве что без бессознательного хождения во сне. Но потом приходила спасительная мысль, что все Киянские – Владимир и его отец и их родственники в Нью-Йорке не такие, как мы, и не просто не такие, а разительно не такие, приземленные и на своей меркантильности заиклинные. Эта мысль успокаивала ее лучше моих доводов.

Вот такая цепочка выстроилась в наших отношениях. В отличие от Варвары Ивановны, Лину Моисей Авдеевич понимал, принимал и уважал. Но уважал, как курочку, несущую золотые яйца (он нисколько не стеснялся так ее называть). Другие ее качества в его глазах такой высоты не имели, а часто не имели вообще никакой высоты, и их можно было не замечать. Курочке, несущей золотые яйца, не обязательно быть Венерой Милосской. Она могла быть рябой или любой другой, могла являть собой верх неказистости, это значения не имело. Главное, чтобы она дело свое делала.

Вот так, или примерно так все обстояло, когда мы получили приглашение посетить дом Моисея Авдеевича. Дочь прислала нам деньги и диски с фотографиями и семейным фильмом, а Моисей Авдеевич был передаточным звеном. Это и послужило поводом к общению. Жили Киянские сразу за городом, в поселке на берегу реки Чирчик. Добрались мы быстро, всего за час. Частная служба извоза в Ташкенте была поставлена хорошо. На стук в добротные ворота Моисей Авдеевич откликнулся сразу, загнал своих собачек в их конуры – он содержал немецких овчарок, чемпионов породы (точнее, они его содержали). Еще он содержал голубей, тоже очень заковыристых и дорогих.

И собачки, и птички были и давним его хобби, и неиссякаемым источником дохода. Он в них души не чаял с далеких детских лет и делал все, чтобы им было хорошо. И они, надо сказать, отвечали ему полной взаимностью, понимали его с полуслова и лоснились от здоровья, а в его отсутствие, попадая в другие руки, хирели от недостаточного внимания. Но он приезжал, и все возвращалось на круги своя. По этому поводу Клава обмолвилась однажды: «Если бы он людей любил так, как своих собачек и птичек, цены бы ему не было!»

Загнав собачек в их конуры, Моисей Авдеевич вышел к нам, и мы обнялись и поприветствовали друг друга. Невысок он был, кряжист и совершенно седовлас – при густых коротко стриженных и слегка вьющихся волосах седовлас. Лицо его было и цвета, и состояния печеного яблока: глубокие морщины прорезали лоб и шли к ушам от уголков губ.

- Наконец-то! – произнес он. – Я соскучился! Все телефон и телефон, нет, чтобы посмотреть друг на друга в неформальной обстановке.

- И я соскучилась, - сказала Глафира Петровна, руку подала, но посмотрела мимо Моисея Авдеевича.

Мы вошли во двор. Кончался апрель, давно было тепло, прошли дожди, и деревья радовали листвою тугой и свежей. Их кроны словно притягивали к себе солнечный свет. Но это вовсе не означало, что минувшая зима, занозистая, с двадцатиградусными, редкими у нас морозами, не нанесла им урона. Пострадали хурма, инжир и гранаты, и виноград столовых сортов. Этот урон предстояло воспроизвести. «Какие деревья! – громко радовалась Глафира Петровна переменам в саду Киянского. – Сколько урюка! А это слива? Усыпано! Наконец, ваш сад начинает походить на сад (намек на то, что долгое время Моисей Авдеевич был совершенно равнодушен к своему пространному земельному участку и использовал его только как выгул для собак). О, и яблочки будут! Богатый вы Буратино!

- Ну, если я и богат, то не урюком и яблочками! – улыбнулся Киянский. Улыбка круглила его щеки и хорошо сглаживала его года.

- Какие гости долгожданные! – воскликнула Клава с порога дома и павой двинулась нам навстречу, раскрыв объятия.

Последовал еще один обмен приветствиями, эмоциональный и пылкий. На сей раз в нем не было и тени неискренности. Все прошли в дом, а я задержался у вольера с голубями. Их, собственно, было два, для птичек обыкновенных, которым разрешалось летать, и птичек элитных, тщательно оберегаемых от всего стороннего, – им за пределы вольера выход был запрещен. Разницы в поведении голубей обыкновенных и элитных не было никакой, и те, и другие клевали зернышки и запивали их из блюдечка, а потом проявляли интерес к особям противоположного пола. Элита не кичилась своим изыском, своими хохолками, шпорами и другими особенностями, мне мало понятными, но очень ценимыми знатоками. С голубей я перевел взгляд на собачек. Порода из них так и выпирала – вместе с лоском ухоженности. Но, живи я в доме на земле, я бы не завел ни собачку, ни голубков. У меня была другая приверженность, другое поле приложения сил. Каждому, как говорится, свое! Интересно, с каких пор эта мудрость довлеет над людьми?

Мы пришли первые из гостей. Домработница сновала между столом и плитой. Тотчас за нами явились Павел с молодой девушкой Анастасией, Дима с молодой женой Анечкой, бывшая домработница Светлана с двумя женщинами, среди которых выделялась моложавая, подтянутая Кира, агент по продаже недвижимости. С Пашей Киянский познакомился, живя в Штатах и зарабатывая извозом. Тот занимался этим же и еще чем-то приторговывал; советские профессии, чаще всего, там не котировались и редко когда востребовались. Извоз позволил Моисею Авдеевичу заработать пенсию в 600 долларов, после чего он с огромной радостью возвратился в Ташкент и провозгласил: «Здесь я человек!»

И он не лукавил нисколько, истинную правду сказал – прагматическая Америка не стала для него родным домом. Паша был высок, вальяжен, но несколько аморфен. А Дима, молодой партнер Киянского по бизнесу (он делал по его заказам держатели оптических прицелов для спортивного оружия), был коренаст и крепок, приветливо улыбался и улыбкой же, но не словами отвечал на большинство обращенных к нему вопросов. Анастасия и Анечка вели себя, как приложение к своим представительным мужчинам. Они, как прилежные школьницы, выполняли некое домашнее задание, и только. Светлана тоже была скромна и немногословна.

До первого тоста говорить было особенно не о чем; вино и водочка и должны были развязать языки и нащупать точки соприкосновения. Сели, наполнили бокалы и тарелочки, и первый тост не заставил себя ждать. Его произнес Моисей Авдеевич.

- За встречу, и за праздники, которые впереди (Первое Мая не праздновал уже почти никто, а День победы, конечно же, забыт не был, наше поколение не могло жить без него). За ваше здоровье и ваши успехи! – сказал он, не возвышая голоса и приглашая начать трапезу. Стол, вокруг которого мы сидели, был выше всяких похвал. И рыба копченая была на нем, и сыры, и салаты разные, и соленья. Выпили, и Глаша налегла на рыбку и грибочки, я – на салаты. Глаша более одной рюмки не пила, а я предпочитал водочке сухое вино, я и сам его делал на даче и дома.

- Ну, вы, Клавочка, постарались! – похвалила стол Глафира Петровна.

- А я опять, как всегда, на втором месте, - сказал Моисей Авдеевич. – А кто по базарам бегал, выискивал всю эту прелесть?

- Вы впереди планеты всей, и вам за ваши хлопоты огромное спасибо! – немедленно загладила свою промашку Глафира Петровна. – Как ваши голубки перенесли эту зиму, эти холода лютые? Когда снаружи было минус двадцать, в нашем доме было не теплее десяти градусов, и одного свитера мне не хватало для сугрева. Я часто в пальто пряталась и жалела, что у меня нет мехового спального мешка.

- Голубкам было хуже, чем нам. Птички болели и умирали. Двадцать особей умерло. Но не элита, в элитном вольере потерь не было.

- А собачки?

- Им что, для них это семечки. Этим собачкам все нипочем, они самой своей породой закаленные и для преодоления всяких невзгод предназначенные.

- Жалко голубков.

- Не сыпьте Мосе соль на рану! – сказала Клавдия. – Он так переживал! Он брал их в руки, мертвых, и целовал в клюв, и слезу ронял. Теперь новые птички вывелись, возместили утрату.

Выпили по второй, за близкий День победы, и за детей и внуков, чтобы в их жизнь не вторгались сложности, такие привычные для нашего поколения. Слава Богу, жизнь в России налаживалась, страна буквально купалась в нефтедолларах. Да и когда было в ее истории, чтобы превышение экспорта над импортом достигало 125 миллиардов долларов в год? По золотовалютным резервам она догоняла Китай и Японию, но к острию технического прогресса приближалась медленнее, чем того хотел патриот России Путин. Америка же давно жила не по средствам, занимала на свое великодержавие у будущего, завязла в Ираке и Афганистане, и доллар стремительно катился вниз. Годовая инфляция в 7 – 8 процентов (в предыдущие годы она не превышала 1,5 процента) грозила доллару стремительным обвалом, дефолтом. Все во всем мире быстро дорожало, а особенно продукты питания. Моисей Авдеевич, как и его сын Владимир, очень не жаловал Буша, называл его тупым и недалеким и радовался, что его власть кончится в этом году. Нестабильный Ирак буквально высасывал Америку и способствовал росту цен на нефть. Цена барреля уже подкрадывалась к отметке в 120 долларов, и никаких ограничителей впереди не стояло. Я же помнил, что в советские времена тонна нефти внутри страны стоила 18 рублей. Тонна, не баррель.

- Мужчины, давайте оставим политику политикам, - предложила Клавдия. – Мы все равно в ней ничего не проясним и ничего не поменяем к лучшему. Наше слово в ней ничего не значит. Глафира Петровна, как ваша Линочка, довольна своим офисом? Работать на себя приятнее, чем на чужого дядю, не так ли?

- С чужим дядей надо еще по-доброму разойтись, - сказал Моисей Авдеевич. – Лазарь, ее хозяин, ей за полгода задолжал. Как прознал, что она уходит и офис свой обустраивает, так и перестал платить за работу, да еще претензии выставил высотой до седьмого неба. Еще бы, она, как врач, приносила в клювике больше всех, и он прекрасно знал, что теряет. И вот теперь адвокаты и суд, а это все денежка живая и не маленькая. Суды в таких случаях не торопятся, а денежку тянут и тянут.

Мы знали об этой проблеме, но знали издалека, не в подробностях. Их было слишком много, и они быстро менялись, так что Лина нас в них не вводила. Еще мы знали, что она взяла в свою команду только одного врача и остановилась – к этому врачу пациенты упорно не шли, шли только к ней. Еще мы знали, что общая ситуация на медицинском рынке Америки ухудшилась для врачей, но улучшилась для пациентов – платить за услуги врачей они стали меньше. Разговор коснулся и других наших детей, но вскользь. Большинству из присутствующих за столом это было не интересно.

Выпили еще – за нас, грешных, вышедших на свою финишную прямую. Чтобы жизненное пространство, еще нам оставленное судьбой, не скукоживалось слишком быстро. На закуску особенно не налегали, возраст не позволял. Дима вдруг поблагодарил хозяев и откланялся; какие-то неотложные дела его поджидали. Моисей Авдеевич вышел проводить его и Анечку, тихую-тихую, как незамутненная вода. Глаша села рядом с Клавой и о чем-то с ней зашептала. Более всего им нравилось перебивать косточки Варваре Ивановне. Я вышел во двор. Мы ходили с Моисеем Авдеевичем по саду. Деревьям в нем было хорошо, раздольно, и траве – тоже. Никто не выкашивал ее на корм скоту.

- И как оформляется ваш отъезд? – поинтересовался Киянский.

- Неспешно оформляется, - сказал я. – Второй год оформляется. Миграционным службам некуда спешать, и нам, наверное, тоже. Много бумаг от нас требуется. Мы посылаем одни, потом другие, потом оказывается, что нужны какие-то еще, и этому нет конца-края.

- Лучше бы вам здесь остаться, - прямо сказал Моисей Авдеевич.

- По мне, тоже лучше, - согласился я. – Но Лина очень хочет нашего приезда.

- Поймите, на них нагрузка ляжет новая. Пока вы здоровы, все ничего, а вдруг занедужите, и понадобится операционный стол? Им напрячься придется, и как следует.

- Лина надеется, что у нас будут страховки.

- Все-таки, подумайте еще и еще раз. Внуки быстро растут, они в своем жизненном пространстве, и им уже не до вас. Корней что мне в последний раз сказал? Он сказал: «Деда, отойди, я хочу сам играть!» И я сделал шаг назад. Не он по мне скучает, а я по нему. Я для него вчерашний день, старик замшелый.

Все могло быть так, а могло быть и не совсем так. Я понимал, что позиция Моисея Авдеевича – это продолжение позиции Владимира, точнее, воспроизведение позиции Владимира. Он посредничал при оформлении наших документов, и потому оно так затянулось. Два года прошло, а была только середина оформления, и не виделось ни конца его, ни края. Он не торопился, Глафира вскипала, я успокаивал ее, внушал, что в нашем положении лучше в другую страну не торопиться. Он не торопится – и мы не торопимся! «Нет, как я буду там, ведь он меня не любит!» - говорила она, и глаза ее произвольно усложнялись. И я снова успокаивал ее, говорил, что ее любит Лина, и этого достаточно. «Внуки тоже любят меня!» - дополняла она. Конечно, ей очень хотелось поставить знак равенства между своей к ним любовью и их ответной приязнью, но ее, как уже подметил Моисей Авдеевич, могло и не быть.

Мы возвратились в дом, выпили еще, без тоста, а потом перешли на чай и мороженое. Глаша тотчас спросила меня, о чем мы говорили, и я мягко сказал, что Моисей Авдеевич не сторонник нашего переезда. «Это predetermined, я знаю давно!» - прошептала она, и с этого момента перестала улыбаться.

Разговор переключился на городские дела и недвижимую. Кира, до этого молчавшая, заговорила. Ее профессия ей нравилась, и нравилась по той причине, что приносила несколько тысяч долларов в месяц, даже если она брала за свои услуги не три официальных процента, а один. В средствах она не была стеснена и могла позволить себе практически все. Цены на недвижимость интересовали Клавдию и Павла, а особенно Глафиру, которая до поры до времени помалкивала. Павел собирался продать что-то хорошее и купить двухкомнатную квартиру, но в добротном доме и в престижном районе.

Получалось, что за такую квартиру он должен будет отдать пятьдесят тысяч, и в прибавке у него останется тысяч пятнадцать-двадцать. Это его устраивало. Ближе к центру квартиры дорожали; вся ценовая раскладка была в памяти Киры, и она ею свободно оперировала. Вступила в разговор и Глаша, попросила оценить нашу квартиру. Расхвалила произведенный ею евроремонт. Кира ремонт в расчет не приняла, назвала сумму – семьдесят тысяч. Глаша еще раз похвалила квартиру, но Кира к названной цене не прибавила ничего. Ремонт, произведенный хозяевами, у покупателей не котировался, у них на этот счет были свои ориентиры. Улучив момент, Моисей Авдеевич передал мне деньги и диски с фотографиями и фильмом от Линочки. Я поблагодарил его.

Клавдия громко выразила свой восторг по поводу сережек и бус Глафиры Петровны, сработанных ташкентскими умельцами из местных поделочных камней, действительно и благородных, и красивых. Глаша загорелась, стала нахваливать и камни, и умельцев, их обработавших, назвала адрес, где она все это приобрела – по вполне умеренным ценам. Свои камушки-самоцветы она могла разглядывать часами, и умиротворение тогда находило на нее, душевный покой.

- Вы и Линочке послали такие поделки, - вмешался Моисей Авдеевич, порядком закосевший. По профессии он был геолог и в камнях разбирался лучше всех нас, взятых вместе. – Только, на мой взгляд, все это дешевка и мелочь. Лина на них даже не посмотрела.

Глафира Петровна померкла; еще раз подтверждалось, что Киянский ни во что не ставил ее подарки Лине и внукам, – а она делала для внуков удивительные книжки, им посвященные. В эти книжки она вкладывала всю себя, и в типографии стелились перед ней и говорили: «Мы в первый раз встречаем такую заказчицу!» Я увидел, как трудно ей сдерживать себя, но она плотно сжала зубы и сдержалась.

А Павел так и не раскрылся, не разоткровенничался, только налил водкой. Мы посидели еще, а затем пришло время поблагодарить хозяев за их труды-заботы и откланяться. Мы так и поступили. Начинало смеркаться. Моисей Авдеевич проводил нас до ворот и мне при прощании сказал, что у него со мной много точек соприкосновения, а Глафире Петровне – что у него с ней точек соприкосновения меньше. Сожаление выразил по этому поводу и желание, чтобы их стало больше. На том и простились. Остановили маршрутку и поехали к станции метро.

- Не хотела ехать, и не надо было ехать! – сказала Глаша, когда мы шли домой от станции метро. – Не любит он меня. И вся его родня, которая там, не жалуется на меня. А особенно Варвара Ивановна! Ума не приложу, как я там все это давление выдержу!

- Успокойся, - попросил я. – Это данность, от которой никуда не уйти, поэтому успокойся. Не бери себе душу!

- Нет, больше я к Киянскому не хожу! – сказала она. – И к нам не позову. Он как пресс, давит и давит. И к его давящим рукам незримо прикладываются ладони Володи. Не хочу! Чем я перед ними провинилась? Тем, что люблю свою дочь и желаю, чтобы ей было хорошо?

Слеза поползла по одной ее щеке, потом по второй. И за каждой из них осталась извилистая дорожка. Я положил руку ей на плечо и в который раз произнес: «Успокойся!» Знал, однако, что утешать ее сейчас бесполезно. Обида должна была выбродить в ней и затихнуть сама. Вошли в дом. Я наполнил чайник водой и зажег под ним газ. Мрачна была моя Глаша и погружена в себя, и я знал, что это надолго. Чай заварился хорошо, заварка была цейлонская, высокого качества, но она отпила из пиалы глоток-другой и остановилась. Обида, запавшая в нее, обладала высокой ростовой силой и продолжала увеличиваться в объеме. Противодействие такого рода обижало ее прежде всего своей несправедливостью. Внутри нее бушевала буря, а до меня доносились только отдельные ее сполохи. Впервые за много дней она не включила телевизор. Сидела и отрешенно смотрела на стены, на потолок. Я поставил кассету с записями песен Булута Окуджавы, которые она очень любила. На сей раз вкрадчивый, душевный голос барда обтек ее, но не втек в ее сердце.

- Никуда мы не поедим! – вдруг заключила она.

Я сел рядом и еще раз сказал: «Успокойся, пожалуйста! Нас зовет дочь, мы нужны ей и внукам. Но если ты хочешь остаться, мы скажем Лине, что остаемся. Визу нам пока еще никто не дал».

Ей было очень не по себе. Она легла, и я пошел к себе и тоже лег. Спал, как обычно – с долгими пробуждениями и метаниями, с мыслями, каждая из которых упиралась в свой барьер. Глаша долго не просыпалась, значит, заснула поздно. Когда открыла глаза, я увидел, что они у нее красные от слез. Я сказал, что

мне не нравятся ее глаза, и она сказала, что проплакала всю ночь. Мы поставили диски Лины – и увидели фотографии семьи Киянских. На Лине были бусы и сережки, подаренные матерью. Они очень шли ей.

- Видишь, видишь! – сказал я Глаше. – Это твои бусы и твои сережки, Лине они очень идут. Моисей Авдеевич может говорить что угодно, а дочери нашей нравятся твои самоцветы, и она, конечно же, надевает их на работу..

Она впиалась глазами в экран. Фото открывалось за фото. Внуки очень подросли, лукавые детские личики вызывали умиление. Светлана, которой через неделю должно было исполниться двенадцать лет, приобретала черты прелестной девицы, Корней оставался верен своему «Я сам!», Полина озорно посверкивала глазками и исподтишка командовала старшими сестрой и братом, требуя внимания, внимания и внимания. Накатилась волна глубокого удовлетворения, и Глаша тоже, кажется, начала оттаивать. Она достала письмо Лины, полученное в канун ее семидесятилетия, прочитала сама и протянула мне со словами: «Вот этому я должна верить, а всему прочему – нет, нет и нет!» Письмо было написано на поздравительной открытке, очень красивой. В нем были одни проникновенные слова, которые могло подсказать только любящее сердце.

«Дорогая моя Мамулькина! – писала Линочка. – От всего сердца поздравляю тебя с юбилеем и желаю тебе всего самого лучшего и, конечно же, здоровья. Я счастлива, что ты у меня такая замечательная, и очень тебе благодарна за все то, что ты сделала для меня и для всех нас. Когда я думаю о тебе, мне всегда хорошо и спокойно, и я очень рада, что ты у меня есть. С любовью – Лапулька».

И аккуратная приписка была рядышком: «Дорогая Глафира Петровна! Поздравляю вас с семидесятилетием и присоединяюсь ко всем теплым словам, сказанным Лапулькой. Мы вас все очень любим. Владимир».

- Этому ты должна верить, - согласился я. – А все прочее ты должна отмести от себя решительно и бесповоротно и больше не придавать ему никакого значения. Все прочее должно умереть для тебя сейчас же!

- Мы поедem к Лине, потому что ей это надо. И это надо внукам. А Моисей Авдеевич пусть остается при своих голубках и своих собачках, ему только с ними хорошо, - сказала Глаша, и лицо ее просветлело. Кажется, пресс, сжимавший бедную ее головку, ослабил свою жесткую хватку.

Я обнял ее и сказал: «Хватит переживать, и поставь еще раз Булата Окуджаву! Теперь он хорошо на тебя повлияет, а вчера его слова проходили сквозь тебя».

- На меня Лина хорошо влияет! – ответила она, но нужный диск в магнитофон вставила сразу.

2008 г.